



Наталия Черных  
ПОХВАЛА БЕССОННИЦЕ

Посвящается \*\*\*

Стихи 2006–2008 гг.

Москва

2009

## Поэтическая серия «Русского Гулливера»

*Руководитель проекта Вадим Месяц*

*Главный редактор серии Андрей Тавров*

*Оформление серии Валерий Земских*

**Наталья Черных.** Похвала бессоннице. Книга стихотворений / Серия «Русский Гулливер». — М.: Центр современной литературы, 2009. — 148 с.

*об авторе*

*Черных Наталья Борисовна, 1969 г.р., поэт, прозаик, эссеист. Родилась в городе Челябинск-65, ныне Озёрск, училась во Львове, с 1987 живёт в Москве. Автор семи поэтических книг. Победитель Филаретовского конкурса поэзии в 2001 г. В 2008 г. в изд-ве ЭКСМО вышла книга очерков «Уроки святости».*

*С 2005 г. — куратор поэтического Интернет-проекта «На Середине мира».*

© Н. Черных, 2009

© С. Завьялов, предисловие, 2009

© Л. Вязмитинова, предисловие, 2009

© Ю. Орлицкий, послесловие, 2009

© Русский Гулливер, 2009

© Центр современной литературы, 2009

ISBN 978-5-91627-027-3

## БОЛЬ ЗДЕСЬ – ТОЛЬКО БОЛЬ

*Бывают поэты, которые выражают время. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд, потому что в разных социальных стратах, при разных жизненных практиках время — разное. И кто из ровесников — лучший выразитель этого времени: аристократ Владимир Набоков или приказчик Алексей Сурков, маргинал Константин Вагинов или лидер Илья Сельвинский, а может быть вообще певец «любви на скамейке» Степан Щипачев?*

*Но есть поэты, время не выражающие, и вообще не выражающие ничего. Их творчество не выражает, а содержит: невроз, надежду, архетипический трепет, теплящуюся жизнь. Их трудно читать, о них неэффективно рассуждать, неактуально упоминать, непродуктивно (в смысле скудости получающегося продукта) описывать.*

*Потому что аффектированная боль «визуабильнее» боли отпускаящей, концептуализированный опыт «интеллигбельнее» данного нам в ощущениях. Со всем этим материалом мы (читатели, коллеги, критики) просто не знаем, что делать. Уже не только обывательское, но и профессиональное чувство самосохранения подсказывает отвести глаза в сторону.*

*Вот так и поступает современная русская литература с Натальей Черных. И в этом ее положении есть только одна утешительная сторона: когда стареющие «главные», наконец, зазеваются и новая (как всегда наглая) поэтическая генерация прорвется на литературное поле, квалифицируя все приметное на нем как хлам и мусор, у Черных, не запачканной успехом, чуть больше шансов избежать общего удела своих ровесников. (Впрочем, заранее ничего гарантировать нельзя.)*

*Тем более, что ведь не скажешь, что поэтесса никому не известна. Данная книга — восьмая по счету за 13 лет, да и выходили они там же, где выходили книги тех ее ровесников (и ровесниц), что у всех на слуху: в «Арго-риске», «Русском Гулливере»... А до этого Наталья Черных печаталась и в «Гуманитарном фонде», и в «Вавилоне», и в «Окрестностях». Даже в уважаемом двухтомнике «Современная литература народов России» она есть (а там много кого нет). Следовательно, за всем этим «непризнанием» стоит нечто такое, что требует объяснения.*

*Общим местом в упоминаниях о стихах Черных является ее православие. На мой взгляд, это характеризует лишь употребление самого*

этого понятия в языковой практике литературной среды нового поколения, потому что подключение автора к «православному» контексту что «бронзового века» (Кривулин, Шварц, Стратановский, Седакова), что околоцерковной «книжности» (Николаева), что к отчаянно рискованным опытам сконструировать такой контекст сегодня (Круглов) ничего не даст: ее поэзия слишком далека и от ретро-модернистской героики сопротивления, и от, в сущности, внутренне комфортного благолепия, и от трансгрессивных интенций.

Но что же тогда в этой поэзии есть, что так старательно увертывается от критического препарирования?

Во-первых, народность. Рискну употребить это «мертвое» слово с тем, чтобы оспорить мнимое отсутствие его референта. Это, естественно, не демократичность, которая несовместима с «культурными» реалиями (античными или кельтскими). Скорее это что-то связанное с «национальным началом», и об этом нужно сказать подробнее.

Немыслимо представить себе подобное словосочетание в отношении поэта из бывшей (а тем более если не бывшей) империи. Оно своей одиозностью разрушит любой самый доброжелательный разговор. Но в том и дело, что даже беглый взгляд на проблему показывает подмену этого понятия в русском случае чем-то иным, разным в разных обстоятельствах: милитаристски-погромным или ортодоксально-клерикальным, маскарадно-анахроничным или экзотически-фольклорным, барски-благодарным или, наоборот, плебейски-самоутверждающимся. У Черных же мы можем услышать народную интонацию и просодию, очищенные и от идеологических задач, и от примет образовательного или же социального ценза.

Одно дело:

Опять играют два баяна  
В весеннем парке на кругу.  
И про тебя, мой окаянный,  
Опять забыть я не могу.

(Михаил Исаковский, 1961)

Мы не сильно ошибемся, предположив число законченных классов (от 4 до 7), карьерный путь (из доярки или льноводки в неквалифицированные фабричные работницы) и matrimониальные перспективы (потенциальные женихи были убиты на войне) героини этого, в каком-то смысле «классического» народного стихотворения. Другое дело:

Всё во мне, Господи, поперек,  
милый ты мой уголек,

а согрел,  
не позабудь, как согрел,  
как сам сторел.

(цикл Натальи Черных «В дороге и на постое», 2008)

Что мы можем знать из этих строк о героине Черных, кроме того, что для нее интонация причитания органична, тем более что лишена примет просторечия? И того, что, в отличие от первой героини, ей не нужно музыкальное сопровождение, она в должной мере музыкальна сама.

Во-вторых, религиозность. Опять-таки «пустое» определение, что без всякого контекста, что в современном русском контексте. Одно дело:

как снег Господь что есть  
и есть что есть снега  
когда душа что есть  
снега душа и свет  
а все вот лишь о том  
что те как смерть что есть  
что как они и есть

(Геннадий Айги, 1978)

Этот шедевр говорит нам о жесткой позиции автора и по отношению к тому, что он называет «Муляж-Страна» (и что ставит его в один контекст с поэтами Сопротивления от Рене Шара до Чеслава Милоша, только здесь это сопротивление — репрессивному государственному атеизму), и по отношению к тому, что называется «великой русской традицией» (уничтожена не только рифма, но и синтаксис). Другое дело:

... боль здесь — только боль,  
улыбка есть улыбка, а страданье  
здесь, в мире, где Христос ходил с людьми,  
уже не будет глупым и напрасным.  
Здесь каждый с именем — уже как человек:  
он видит, слышит, осязает, любит  
не только плотью. Он болеет, спит..

(триптих Черных «Лоза, молоко и роза»)

Опять-таки у Черных мы сталкиваемся с «неподключаемостью» ее речи (и ее богословствования, а ему поэтесса не чужда) к какой-либо или прямо сартикулированной, или косвенно находимой на современной полемической карте позиции.

*В третьих, реализм. Осознаю, что пользуюсь малоконкретным обозначением неких эстетических практик работы с реальностью, где эта реальность не выступает в излишне сгущенном или превращенном состоянии, в то же время раня читателя материалом или ракурсом.*

*Одно дело:*

На реке непрозрачной  
        катер невзрачный какой-то,  
Пятна слизи какой-то,  
        презервативы плывущие  
Под мостами к заливу  
        мимо складов, больниц, гаражей  
И Орфея-бомжа,  
        что в проходе к метро пел пронзительно,  
Голова полусгнившая.

*(Сергей Стратановский, 2003)*

*Мы видим, как нарастающее сгущение красок в создаваемой на материале реальности картине привело к ее превращению в фантастическую сцену на известный мифологический сюжет.*

*Другое же дело:*

... здесь на квартире, или, считай, на флэту, в этом исконном сарае, где шестилетние дети глядят как законченные паразиты, а матери делают вид, что весь бардак вокруг них гармоничен, в этом еще не закончившемся предвосхищении, в этом наркопритоне без средств и без кайфа...

*(цикл «К Царицынскому парку»)*

*Ужас происходящего не гиперболизирован, и, возможно, именно это позволяет увидеть некоторые детали, которые было бы не разглядеть, будь рассказ более экспрессивен.*

*Но мы с некоторым трудом подыскали «чистые» примеры: обычно же все три эти начала переплетены в кажущемся несколько анахроничном, а на деле архаичном рассказе-плаче «от первого лица». Это и есть узнаваемый почерк поэтессы:*

я расцветаю тем гибельным цветом, той радостью страшной,  
что людям дана перед смертью

.....  
Боль — когда тело цепляется за  
взгляд, поворот головы, чашку, воду горячую, мыло, одежду.

Всё это канет в простую вселенскую осень,  
как в Клязьму (ее берега круты и покрыты монашеством ив  
кротковольных).

.....  
Предчувствие радости высшей преображает  
радость земную. Она расцветает, как не умеет цвести среди плотных  
вещей,  
она озаряется, светит! Она будто лист, мягкий и теплый, на антраците  
асфальта...

*(цикл «Детские элегии»)*

*Остается предположить, что же именно может оказаться «абсолютно современным» (Рембо) в поэзии Черных для читателя следующего (а оно вот-вот «заявится») поколения, чего без этих стихов не было и нет в русской поэзии. И тут не обойтись без «гендерного» ракурса и, одновременно, без напоминания о трюизме: как нет такой реалии феминизм, а есть реалия феминизмы, так нет «женской поэзии», а есть «женские поэзии». И в их контексте мы должны последовательно «срывать» одну за одной инспирированные временем (см. начало статьи) маски: «роковая женщина-поэт (в мужском роде)», «вдова-сестра-мать, оплакивающая павшего мужа-брата-сына», «андрогинная инфантилка, продуцирующая «фиктивное эротическое тело» (Кукулин)», «молодая разгневанная женщина» (Скидан), срывать постольку, поскольку их надает на автора это самое время.*

*У Черных же именно здесь — всё абсолютно другое, у нее, как у святого / блаженного Августина, времени нет:*

... мы невменяемы здесь,  
где вместо времени сыворотка

.....  
так что лучше прослыть дураком и сидеть весь остаток жизни  
поднадзорным таким глухарем, воплощением тихого смысла...

*Сергей Завьялов*

## ЛЕСТВИЦА ПОЭТА

Выход этой книги, восьмого поэтического сборника Наталии Черных «Похвала бессоннице» — событие в современной русской поэзии. Каждый поэтический сборник этого автора, одного из самых сильных и самобытных в так называемом «поколения 90-х», свидетельствует о достижении качественно новой ступени мастерства, о становлении личности поэта, который в настоящее время, после появления восьмой книги своих стихов, претендует на место в самых первых рядах современных русскоязычных поэтов.

Начало творческого пути Наталии Черных, как и всех авторов «поколения 90-х», пришлось на рубеж 80–90-х гг. прошлого века, время масштабной реструктуризации русскоязычной культуры. Свои собственные пути им пришлось нащупывать, справляясь с лавинными потоками информации о ее воссоединяющихся в одно целое «разрешенных», «полуразрешенных» и «запрещенных» в советское время составляющих, в том числе христианства. Позиционируя себя и свое поколение, они образовывали самостийные объединения и выпускали альманахи и авторские сборники, сначала рукописные и машинописные, а затем — типографские. Наталья Черных, член литературной группы «Междуречье», один из авторов альманаха Союза молодых литераторов «Вавилон», регулярно выступавшая на вечерах сложившейся в 90-х гг. в Москве сети литературных клубов, первые печатные книги которой вышли в издательстве «АРГО-РИСК», образованном при СМЛ «Вавилон» («Приют», 1996 и «Виды на жительство», 1997), вращалась в широком кругу московских авторов, однако ее творчество отличалось большой степенью аутентичности.

Одинаково успешно освоившие как традиционный, так и авангардный и поставангардный опыт литературы и находясь в условиях сложившейся к тому времени установки на практически отсутствие каких-либо достоверных приоритетов в мире и сознании человека, авторы «поколения 90-х» искусно балансировали между культурными установками, серьезностью и иронией, реальным и фантастическим. При этом в области поэзии наблюдалось сочетание массивованного поиска формы с ориентировкой на идущее из глубин «я» личное поэтическое высказывание, в ходе чего выявлялись индивидуально-достоверные картины бытий-

ствования человека и мира, в котором он пребывает. В этой ситуации Наталию Черных, к тому времени впитавшую в себя культуру западного и отечественного рока и глубоко проработавшую как русскоязычную, так и англоязычную, в том числе средневековую, литературу, выделяло то обстоятельство, что поиск форм художественного самовыражения в 90-х у нее совпал с процессом воцерковления.

Темы и образы ее текстов обратились к жизни церкви и состоянию сознания воцерковленного человека. Характерно, что в 2001 г. она стала победителем Второго Филаретовского конкурса на лучшее религиозное стихотворение. Серьезной вехой на ее творческом пути стал сборник «Тихий праздник» (М., Тверь; АРГО-РИСК; KolonnaPublications, 2002). В единое целое временами весьма разнородные тексты этого сборника сплачивает христианское мировоззрение автора, что проявляется на нескольких уровнях: в балладах, почти сказаниях, представляющих собой христианский эпос, в строках, достоверно описывающих повседневную жизнь воцерковленного человека, во включении в ткань текстов отрывков молитв, а также в лексике, свидетельствующей о хорошем знании истории церкви и христианской культуры.

Даже там, где нет непосредственного свидетельства воцерковленности, ощущается формируемое ею отношение к миру и слову, в основе которого лежит прежде всего культивируемое автором чувство смирения как обуздание и трансформация гордости и своеволия. Достижение этого воспринимается не как победа, поскольку победа предполагает гордость, а именно как «тихий праздник» — светлая негромкая радость от ощущения того, что сделан шаг — только шаг — на отнюдь не гладком пути, и приходит возможность по-иному, по-новому понимать и ощущать себя, мир и слово, прежде всего — слово.

Эстетика авторов, мировоззрение которых следует церковному канону, редко и, как правило, не сильно выходит за рамки традиции. Однако для Наталии Черных, в текстах которой отражается опыт подчинения жизни церковному правилу, как собственный, так и тех, кто многого достиг на этом пути, характерна самая современная поэтика. Она включает в себя свободно меняющийся нерегулярный стих, вставку в ткань стиха фрагментов прозы, фольклорно-авангардные мотивы и элементы самоиронии и центонности — всем этим она пользуется органично и профессионально.

Рисуемая ее строками индивидуально-достоверная картина бытийствования мира и человека также может быть определена как существующая на грани реального и фантастического, с поправкой на то, что такая фантастика есть реальность высшего рода для исповедующих христианство. Важно также, что лирическая героиня Наталии Черных первоначально представала в образе «старухи», она же — пре-

красная волшебная дама, древняя мать, смерть — в ее тесном переплетении с рождением. Известно, что в христианской практике тот, кто стремится трансформировать свою природу так, чтобы подчинить себя исключительно воле Бога, должен как бы умереть для обычного мира, перестать быть обычным человеком, а стать «иным» («иноком»). Так, в текстах Наталии Черных первоначально смерть присутствует в своей освобождающей, преображающей ипостаси — знаменуя отказ от прежней, обычной жизни — с обретением принципиально новых качеств. Ее лирическая героиня того времени напоминает куколку, у которой под временно необходимой оболочкой образа «старухи» идет серьезная работа. При этом она, как и «инокиня», непредставима в роли жены или возлюбленной, проявляя качества сестры или матери.

Вторая ипостась лирической героини Наталии Черных — поэт, исполняющий сформулированный ею завет «Пляши и пой на середине мира!», нечто среднее между странником, скоморохом и юродивым. Именно этот образ, поначалу сращенный с образом старухи и постоянно вырастающий из него, стал визитной карточкой Наталии Черных. Он наследует образу романтического поэта, но отличается от него стремлением к тому, что в данном случае можно обозначить как смиренно-мудрие. Это дает иные возможности видения «дольнего» и «горнего», расположения между ними и оперирования словом — путем подчинения взаимосвязи сознания и слова Слову. Устремленность к этому красной нитью прошивает поэтические сборники Наталии Черных. Она прославляет Господа, просит Его о помощи в решении жизненно-поэтической задачи и обещает Ему быть достойной этого.

В раннем сборнике «Виды на жительство» есть такие строки: «Ты замкни Господи мне уста / чтобы речь проста и чиста / отвори Господи речь наглядную / чтобы всякой твари понятная», а в предыдущем представляемому сборнике «Камена» (М.: Русский Гулливер, 2007), где она по-прежнему характеризует себя «бродягой блаженной», есть строки «Мне бы знать, какова Божья воля / надо всей нашей поэтической неволей». Следование Божьей воле есть неволя (или отсутствия свое-волия) тварного существа, но только в свете Божьей воли постигаются смысл и законы сущего. В случае Наталии Черных принятие «неволи» посвящения жизни работе со стихией слова сочетается с принятием системы «неволя» с целью научиться ощущать и принимать Божью волю «надо» всем сущим. Феномен ее творчества определяется тем, что религиозное чувство, искреннее и глубокое, и воцерковленность, формирующая строй мысли и организацию жизни, работают на достижении цели, которая стоит перед поэтом: отображение в слове многоплановой, но целостной в свете Высшей воли картины бытия человека и мира, в котором он пребывает.

Наибольшей полноты и масштабности эта картина достигла в сборнике «Похвала бессоннице». Здесь героиня Наталии Черных выступает в единстве поэт-человек-женщина или, точнее, поэт-человек женского пола, потому что речь идет о бытийствовании человека по женскому варианту. Надо сказать, что вплоть до появления сборника «Светильник» (М.: Автохтон, 2006) в текстах Наталии Черных, всегда написанных от лица женщины, практически отсутствует специфическое «ты», подразумевающее обращение к мужчине как потенциальной или реальной паре «я». Образ «старухи» позволял не затрагивать этот аспект женской жизни, но к моменту выхода «Светильника» лирическая героиня Наталии Черных начала трансформироваться, что привело к появлению в этом сборнике фраз, содержащих специфическое женское «ты» — сообразно характеру мировоззрения автора: «ищу тебя, люблю тебя», «ищу тебя, со мной — Христос».

Тексты сборника «Похвала бессоннице» возвращают к вышеупомятому сравнению с куколкой, на этот раз — прошедшей трансформацию. Прорвавшая кокон образа старухи (здесь показательны строки: «я была старой, мне было двадцать два года — / потом я помолодела») героиня Наталии Черных предстает в виде женщины, через которую бытийствует стихия женской любви. Важно, что речь идет не о страсти, невозможной после жесткого тренинга чувств и сознания, а именно о стихии, в которой растворяется и которую продуцирует в окружающий мир героиня Наталии Черных: «метель/ стучится в окно моего слишком юного сердца», «я хочу забыть обо всем, кроме тебя и Сокольников», «что теперь делать — одно изрекать: я люблю тебя, да, я люблю...».

Варианты этого «изречения» рассыпаны по текстам сборника: «я пьяна, я люблю тебя», «я сотню раз, я тысячу люблю тебе шепну»... — «такая вот песня песней». «Я» и «ты» сливаются в «мы», и приходит ощущение полноты бытийности и возможностей человека, рождая желание разделить это с любимым: «я так тебя люблю, / что научу летать и целовать зарю», «ведь человек летает лучше ангелов, и золотится плоть / не яблоком запретным — благодатью. / Возьми её. Пусть не из рук моих, из чьих-то. / Мы с тобой прекрасны, ведь мы с тобой — тысяча пространств, / мы вздох. Ладонь к ладони листьев. / Лети, любимый.». Более того, именно путем соединения с «ты» ощущается возможность продолжения развития «я» в нужную сторону: «вывернуть уныние наизнанку, удалить все ненужные страсти и беды, / этот мусор бытийный, что так настойчиво лезет в глаза, / и остаться лишь тем, что я есть — Божия умная вещь.».

Но наступает неизбежное трезвение: «ты как отражение Жениха», но «вот я немею среди ярмарки наших иллюзий, / я гложу от ропота крови, а где-то превыше небес / едва слышно: благословен грядый во имя

Господне». Изменился характер бытийствования «я», и изменилась картина мира: величественный в разворачивании пространства и времени и многоплановой проявленности сущего, он служит ареной разыгрывания и преодоления трагедии человека, «мыслящего завитка пространства и времени», явленного во плоти и духе.

С приходом земной любви пришла ее неизменная спутница — смерть. Не та, прежняя, в своей освобождающей от плотски-земного, преображающей ипостаси, знаменующая «иночество» и ведущая в царство духа, а «неизбывная беда всех нас», «стрекочущая» в нас «с рожденья», вытеснившая и сменившая ту, прежнюю (здесь показательны строки «Лишь листва лип сокольнических / жалобно тянет мотив панихиды. / А я-то всё слышала это мотив торжественно-строгим»). Это переживается героиней Натальи Черных как изгнание — вследствие грехопадения — из рая пути восхождения в царство бессмертного духа в смертную земную природу, соблазнителем же в данном случае выступают «токи сил земных», являющиеся «позором всему творенью». Недаром рядом со словом «смерть», предшествуя ему, стоит слово «гибель»: «странно мне, / что любовь так сплетена с гибелью и со смертью».

Царство духа теперь «вверху» и недостижимо, что осмысливается как общая трагедия для погруженного в природу земли, но поэт — человек особый. В нем есть «нечто огнистое, лёгкое», а порою бывает и свет», он «выше / природы», «все стихии преодолевает», «обнимает всю землю».

Здесь Наталья Черных затрагивает важную проблему, требующую прояснения. Говоря о поэте до падения в природу, она употребляет средний род: «оно любило будто некий дух / лучом Любви Начальной озарённый/ и всем дарило щедрую любовь / ... оно читало души и стихи», после падения — женский: «теперь она полна сочувствия и милого покая». Декларируя себя прежде всего поэтом, ее героиня заявляет: «плоти не нужно мне — нужно лишь пламя», однако пламя не «выше природы» и оно (!) возникает при сгорании того, что условно можно назвать плотью (она!), которая у человека связана с полом. При этом (как тут не вспомнить знаменитую строку Лермонтова: «из пламя и света рожденное слово»), излучается свет.

Парадокс поэтического творчества заключается в сочетании стремления и невозможности уйти от «дольнего» в «горнее», в зависимости между ними и выражении в слове трагедии (или счастья) этого положения. При этом трагедия ощущается тем сильнее, чем напряженнее разрыв между погружением в «дольнее» и устремленностью в «горнее». Поэтому творчество Натальи Черных после «падения» ее героини получило мощный толчок к развитию: полнота пребывания в плоти позволила познать ее ограниченность («Я — пепел и прах, мирянка», «не старица... и не чадо./ Так Христово зерно в землях ада»), усилив как стремление к

освобождению от нее, так и чувство смирения перед лицом несовершенства человека и непостижимостью Божьей воли.

Заметно изменился и стих Натальи Черных: сохранив все свои признаки, он изменился за счет их усиления, приобретя качественно иные объемность, мощность, плотность. Образы множатся и стремятся к уплотнению, строки — к удлинению, а пульсирующий внутри их ритм — к ритму заклинаящего плача, в той или иной степени сдерживаемому чувством элегической грусти. Временами стих как бы захлебывается, точнее «закруживается», но это «закруживается» стихия слова, не чувства: «песнь кружит, а я хоровод». Этот стих уходит корнями в глубину русской культуры («вещное слово спрятано под образами в бабкиной ладанке»), о чем свидетельствует не только лексический состав («кудель», «ладья», «Яга», «пряха», «Иван Купала», «твердь» и т.п.), но и ритмическая организация. Здесь можно говорить об ощущении и выражении глубоко народных, связанных с природой корнях русского христианства («мне Рязань была — Иерусалим»).

Этим объемным, мощным стихом рисуется базирующаяся на до-становленном переживании трагичная, но отнюдь не безысходная картина бытийствования человека и его мира. Ее опорные моменты могут быть выражены следующими строками из текстов книги «Похвала бессоннице», в которых «ты» собрано из «я», «ты» как пара женского «я» и любого «он» или «она», поднимаясь до общечеловеческого, которое в данном случае является общехристианским. «Каждый из нас поражён, / больше ли, меньше. Степень мало что значит перед лицом неба», каждый «слова молитв лепечет, и надеется / на руку Жениха, который вынет из холодного потока и обернёт сухим бельём / изъеденное болью судороги тело». «Страданье / здесь, в мире где Христос ходил с людьми, / уже не будет глупым и напрасным», поэтому «пей не морщась неволю свою земную, да волю Божию», а в свой срок «придут коты цветные ранним утром, / на крыльях разноцветных унесут/ тебя, меня, всех наших. К Жениху».

Истинная полнота бытийственности и возможностей человека приходят к героине Натальи Черных через слияние пути поэта, предмет трудов которого является «олицетворением первого дара из всех, / данного человеку», и пути к Богу, лежащего вне путей женской любви («любовь и смерть — они твои; ты нищий, / мой друг. Христос сильнее смерти»). Она по-прежнему «дерзкая (почти), со слезами, и всё же молящаяся» «сирота и бродяжка», в конечном итоге идентифицировавшая параметры личного земного рая как «страна, язык да имя», а суть всех «неволь» в виде «Божьей воли» «надо» ними — «по капле познавать / до скончания века, // мир человека, / да больший Господен мир».

Емкая и выразительная картина мира «всех нас» дана в завершающем тексте сборника «Похвала бессоннице». Там он представляется за-

*ключенным в «едущий» «вагон подземки», «за пределом» которого «есть мир, / Где Христу очень нужно увидеть нас всех.». Вряд ли после всего сказанного требуют комментариев строки, подводящие итог этому тексту и всему сборнику: «Доехать, хотя бы в течении часа, / В течении жизни, / К Нему.».*

*Людмила Вязмитинова*

КНИГА ЭЛЕГИЙ

## К СВИДАНИЯМ

### первое

Как выразить мне гнёт несостоявшегося,  
он разрывает простое и тонкое чувство, подобно кисее.  
Древнее слово, но я отчего-то знаю,  
что тебя не любили всего, так, как молятся, так, как слушают старших.

Это странное чудо твоё — самозабвенное соподчиненье  
ходу чувства и слова, они сплетены — не разъять.  
Ты жаждал, чтобы тебя полюбили, но увлечение овладевает тобой  
соподчинённо. Пьяненькой жалобы звуки из дудки твоей.

И потому роза истины сломана, а впечатлительная метель  
стучится в окно моего слишком юного сердца.  
Розу истины нам заменит ветка цветущей сливы,  
на китайском манер — наши сердца боятся друг друга.

Я хочу забыть обо всём, кроме тебя и Сокольников,  
вывернуть уныние наизнанку, удалить все ненужные страсти и беды,  
этот мусор бытийный, что так настойчиво лезет в глаза,  
и остаться лишь тем, что я есть — Божия умная вещь.

Расширенье пространства влечёт за собою  
многозначность вещей, до помраченья сознания.  
В коловращенье том чудится мне, что ты уже не  
принадлежишь времени с чётким названьем и чётким характером.

Чудится мне, что мы где-то встречались раньше,  
в мире гармонии времени и пространства,  
а теперь время нам тайный помощник из частного сыска,  
а государева служба пространства порой допускает свидания.

Чудится даже единственность твоего появления  
накануне конца повести обо мне,  
и Некто — Кто связывает нас провидением  
не утвердил моего заявления  
об уходе по собственному желанию.

И вот я немею среди ярмарки наших иллюзий,  
я глохну от ропота крови, а где-то превыше небес  
едва слышно: благословен грядый во имя Господне.

То, что с нами, друг мой — не осанна ли  
Входу в Иерусалим?

### второе

Когда мы поедем в Сокольники — я позабуду  
невыносимой памяти гнёт, а картинка убогой реальности вдруг  
тронется с места и улетит, как клин журавлиный.

Будет пахнуть корой тополиной  
и прелью змеиной,  
а юные кроны как перья павлина  
(ещё слышится пение: Христос воскресел!)  
нам дружески бросят приветствие клейкое.

Когда мы поедем в Сокольники —  
стой, а это уже Радужный переулок,  
дом из серого крупного кирпича,  
теперь не строят таких,  
окно слева — на первом — Черлога.

.....  
тяжесть событий и отношений уйдёт навсегда,  
как обещано в Откровении,  
а времени больше не будет.

Когда мы поедем в Сокольники  
(путь в пространстве без времени лёгок собой как стрела),  
мы увидим набухшее небо апрельское над Балтикой,  
такое же, как было до разделения небесной воды и земной,  
небо над Ноевым домом после того, как вода отступила.

Не важно, как мы попали сюда,  
не важно, что мы заблудились.

.....  
но тяжести плоти и крови живут, независимо от видений,  
снов, они лишь подначивают мысли,  
тебе же не изменить зарубок на древке земного скитанья.

Что же, мой друг алеут, будем в гости ходить друг к другу  
в воображении, преодолевая  
все пояса часовые и расстояние между Америкой и Россией.

Как далеко мы зашли! Не обращаясь назад,  
я слышу спиной рёв и грохот крушения чувства,  
и себя самоё, потому что подхожу тебе как опиум к крови,  
и мне нужен ты сам, а не время твоё или некая слава.

Позвоночник осыпался известью,  
которой гасят останки.  
Лишь листва лип сокольнических  
жалобно тянет мотив панихиды.

А я-то всё слышала это мотив торжественно-строгим.

## К ОЗЕРУ

I

Вот здесь, на берегу — весь мир.  
 Здесь камни славят умиротворенье;  
 мы в них читаем первый день творенья, и слава.  
 Гармония стихий!  
 Но человек себе кумир  
 и нержавеющей оправы.

Мы за чертой —  
 мы взяты на постой,  
 особенно в русскоязычном мире,  
 все словно в лагере, на время,  
 а пространства  
 пока ещё —  
 но были.

Мы в плену  
 себя.

Всё озеро от берегов свободно.

Нежной ступне вдохновенья больно,  
 и вдохновений деве не принять  
 (иль юноше, как другу вдохновений),  
 жестокой плоти камня.  
 Здесь всё существование невольно,  
 на дни лета и корни не раззять.

Но озеро от берегов свободно,  
 вернулась в бездну водяная гладь.

Мы создавались радугой над бездной,  
 заветом Бога и стихии,  
 мы —  
 но речь как молоко  
 створожилась.

Шёл водопад наоборот,  
 а человек как некая сосна,  
 вращал и протянулся  
 от магмы ложа озера до звёзд,  
 мерцающих из сокровенной бездны;  
 в моих волнах все гребешки созвездий.

Но озеро спокойно и свободно,  
 и горы старые в снегу — престол.  
 Там в инее зелёный лист брусники  
 и заповедник.  
 Человек — наследник;  
 здесь речь моя замёрзла как вода,  
 а озеро — смотри! — свободно.

Ивняк скитаний и лишений галька  
 раскалены. Ужасно и светло,  
 но озеро от берегов свободно.

2

Вот озеро — в невидимой ладони,  
прозрачна вся история его:

недужное рождение в тесноте,  
подстилок влажность и попытки к бегству,  
влюблённость фантастическая, знай,  
оно любило будто некий дух,  
лучом Любви Начальной озарённый,  
и всем дарило щедрую любовь,  
и наполнялось светом и любовью.  
..... Затем  
пришло седое обмеленье.

Спит городок урановый внизу,  
внизу и вправо. Озеро любило,  
оно читало души и стихи.  
Оно не избежало при основе  
семейной трещины. Теперь она полна  
сочувствия и милого покоя.

24

3

Шумит ивняк, а озеро молчит. Огонь заката в ивняке дымится,  
и даже воздух причиняет боль увянувшему телу.

Но чувства в глубине светло оживлены,  
а свежесть ветра как Начал дыханье.

Природа спит, а озеро свободно.  
Природа спит, забудь о ней, дитя.

Она нема и скована проклятьем,  
она как заключённый человек,  
в стенах стихий. Поэт, ты выше  
природы.

Ты все стихии преодолеваешь,  
ты извержение стихий наоборот.

Природа лишь источник задремавший  
в объятьях Бога.

Ликом  
казались улицы почти всегда пустые,  
косая кладка досок  
и стены школы.

Озеро вверху  
и навсегда свободно.

Озеро — престол  
Несущему весь мир,  
оно сжигает  
все боли, все осенние цветы.

25

4

Адамов сон в рыбацьем одеяле,  
когда-то бывшем дёрном трав эдемских,  
тревожить стану я едва ли.  
На берегу нет волн и криков резких,  
а озеро мелеет

.....

Адамов сон о прошлом; нерв стихий его рука волнуясь ощущала  
и так была отечески тепла.  
Теперь вода озёрная как будто из металла.  
Она синее неба и светла,  
но озеро мелеет.

.....

Кирпич белёсый озеру под стать;  
что было: мастерская, продуктовый,  
мне лучше бы совсем не вспоминать,  
глазницы льда весной суровы,  
ведь озеро мелеет.

.....

Адам проснулся. Ледяная гладь  
имела вид счастливого числа.  
Лёд вздыбился. Вода под ним взошла,  
но озеро мелеет.

.....

Не передать, когда вокруг тебя  
один лишь лёд, сырой и синеватый,  
ужасно чистый, а земля пуста,  
пуста, лишь камни, лишь кирпич белесоватый  
того, что будет домом.

.....

26

5

К берегам  
ведёт рыбацья зыбкая дорога,  
а лёд уже живой. Вода под ним  
из пламени и малахита. Бог  
всё ближе к нам, и озеро мелеет.

Там, на дне  
тропа, ведущая от угля к плазме,  
от каменнотелой пики к финскому ножу,  
от шерсти к голубой татуировке —  
империи, провинции, поля.  
А здесь слышна печаль башкирской песни,  
неверная и зыбкая печаль,  
та зыбкая и хитрая печаль,  
которая страшна, как воды Течи  
живительна, как воды Иртяша  
нас поит мёдом.

Озеро свободно.

27

ЛОЗА, МОЛОКО И РОЗА  
(триптих)

К винограду и розе

Лоза, ведь мы не современники растления  
пространства. Ухожу в поэты,

как раньше уходили — хоть в казаки,  
под суд, на каторгу. Скорее, смерть!

Лишь ты одна земле приносишь розы.

О роза, ты классична, как закат,  
как сумерки сознания. Ты тема

всех слов и звуков,

ты лозе невеста.

Прибой пьянящий в хрупких берегах  
взмывает лепестки и сеет страх.

Истоптанная гроздь в точиле спит,  
и платье лепестка сочится каплей.

Вот вкус ухода, аромат прощанья  
и осязание иной земли,

где волны эти: розы, винограда — неразделимы.

Улицы малы, они с ладонь, и город мал,  
сползающий как холст с подрамника;

лишь розы нагота и преобразование винограда.  
И будто песнь. Её растущий звук —

извне и изнутри.

К розе и молоку

Вот роза в молоке: пурпур и жемчуг,  
раскрывшийся младенческой ладонью,  
беспомощной и раненой ладошкой,  
внезапно превратившейся в атлас.

Боль красоте наследница.

Так чин садовника наследует торговец  
и царский трон наследует плебей.

Но здесь, на местности, где даже пыль чиста,  
а скорби дружественны и недолговечны,  
раскрошенная в чашку молока  
сияет роза, в тёмной оторочке,

и каждый лепесток её — забытое лицо,  
его прекрасный цвет — опал в пурпуре,  
глядит, и камера над ним скворчит негромко,  
сверчок-свидетель, новенький скворец,

так розовое молоко стекает в сердце. Жажда истекла.  
Вновь стены, свечи тополей, розарий чахлый,  
и бело-голубые тени на картоне  
(я думала, что он сейчас размокнет),  
на месте вещи. Боль здесь — только боль,  
улыбка есть улыбка, а страданье  
здесь, в мире где Христос ходил с людьми,  
уже не будет глупым и напрасным.  
Здесь каждый с именем — уже как человек:  
он видит, слышит, осязает, любит  
не только плотью. Он болеет, спит,  
и это всё молочные секреты  
и розовые тайны бытия.

Весь человек с рожденья полон розой,  
он переполнен первым молоком,  
но смерти безымянная подсветка,  
как и сверчок небесный, в нём стрекочет,  
и это неизбежная беда всех нас.

Молоко и роза —  
напиток утешения. Оно  
порою глупо, даже неуместно —  
но пей его. Ты не сильнее Христа.

## К ЛОЗЕ И МОЛОКУ

Мой детский город, весь в три этажа,  
где доски стен подгнившей ёлкой сбиты,  
да ветви серые, как ветераны,  
забытые правительством. Увы!

Преодолев, что пережить нельзя,  
разрушив связи родовые с миром  
хлопот и суеты, самозащиты —  
не умереть. И вот, Господь с тобой.

Глоток молочный замер над точилом —  
но запах листьев и куренье дыма  
смешались вдруг с круженьем струй молочных,  
несущихся на сорванную гроздь.

Вот чёрный виноград — когда-то здесь  
пустынная дорога пролегала,  
усыпанная листьями седыми,  
а нынче небо зимнее и звёзды.

Здесь девочка с пушистой серой шапке  
себе казалась сильной и простой,  
и окунала сердце в холод зимний,  
глумясь над хамством слабостью своей.

Вот белый виноград — надежды солнце  
искрилось и горчило в январе,  
но сливки скорби угасили пламя  
надежды. Белый виноград.

Невеста юная ещё не знала,  
как душу глядят сытым утюгом,  
как высыхает заживо влюблённость  
здесь, в проклятой язычником пустыне,  
а это был лишь пригород московский.

Вот красный виноград, вот эти листья,  
где я тебя люблю, как будто нам  
осталось жизни полчала, а дальше —  
молочный свет, и стены детства — да,

мне эти улицы всегда казались  
немного больше, чем на самом деле;  
как в детстве чувства, вещи — и любовь,  
едва-едва; лишь запах виноградный.

Волна из перламутра гроздь уносит:  
прощай, мой друг, постой — но нет: прощай!  
Любовь и смерть — они твои; ты нищий,  
мой друг. Христос сильнее смерти.



## ДЕТСКИЕ

### Первая (пригородная)

34  
Младенца твердь кружится и течёт,  
над ней течёт и детский небосвод, в котором люди хороводят,  
ведут свой хор, и водят хор земной.  
Не знаю всех, а может быть, и знаю; сад слов прекрасен и ветвист.  
Так в комнате соседней праздник тихий, но спящий за стеною слышит.  
Мне говорят учителя: пустынно поселенье, друзья уходят, остаётся боль,  
но ведь она уходит — перед самой смертью.  
Пустынная пятиэтажка старая, любимая, Шанхай мой подмосковный,  
где родилась, Алина, ах, где родилась;  
на первом этаже коммуна хиппи.  
О детская земля: она летает, её на крыльях носят люди света.  
Они не скажут: улицы пустынные, а говорят: не бойся. У тебя есть Жених.  
Про Жениха я поняла всё сразу.  
Ещё сказали мне: люби людей — так мне сказали люди, все из света.  
Они как ты, они летают тоже. Но я была беспомощно сурова  
и медлила растить свою любовь.  
Люблю людей, как любят дети. А деревья и звери так не умеют.  
И комнатные растения тоже не умеют любить, как я, дитя людей,  
люблю людей.  
Есть воля, ум и память. Все три части хочу свести в одно и подарить тебе,  
ведь ты как отраженье Жениха — смотри! Дарю! Храни. Вот эту осень,  
пустынную дорогу, эстакаду, цветных котов — чудесный мир. И осень.  
Всё это человек: дорога будто мысли, а эстакада — годы перед смертью,  
когда друзья, родные — все придут. И тогда увидим всех тех, кого любили.  
Ради этого мне стоит жить. Да и тебе. Придут коты цветные ранним утром,  
на крыльях разноцветных унесут  
тебя, меня, всех наших. К Жениху.  
О мой Шанхай! Ты вспомни обо мне  
в пространстве том, где ты теперь. Нет недостатка у Христа  
в пространствах.

### Вторая (осенняя)

Как светится листва! Летние звёзды из шёлка вымыты,  
пыли осенью нет, лишь мелочь брильянтов дождя прострочила  
мне сердце.  
Осень любимая, как хороша, великолепна и царственна,  
Божия осень, ты больше земли.  
Мёд пью из неба — Божией пригоршни, и я пьяна  
без вина, без вины  
.....  
Я люблю тебя. Да, я люблю тебя. Да, я люблю тебя —  
.....  
и завершилась страница осени, вечных записок о Божиих частностях.  
Всё судьбоносно, весь мир! Озарён! Дождь-эликсир. Я пьяна,  
я люблю тебя.  
О декламация листьев, калейдоскоп тополиный, молитвословия  
девственных пихт!  
Всенощная вселенной, среднерусский мой мягкий октябрь,  
влетаю туда сиротой и бродяжкой, в пух и прах прожившей себя,  
бездомной, безжалостной, дерзкой (почти), со слезами, и всё же  
молящейся.  
Осень, ведь ты как молитва. Как мне не молиться, когда ты  
Христово крыло?  
Осенью девственны все городские деревья.  
Осенью все деревья как вдовы, и мягки от скорби их тёмные  
школьные плечи.  
Осень, ты больше, чем счастье. Я взлетаю, как будто меня  
подобрали на улице,  
в храм твой внесли на руках. Здесь Пушкин, и Тютчев, и даже  
Фернандо Пессоа,  
и далее, все кого я люблю; здесь Джон Донн и Шекспир, и далее, далее...  
мокрое место, я всех их собой отражаю, я слёзы поэзии, осень поэзии  
.....  
я расцветаю тем гибельным цветом, той радостью страшной,  
что людям дана перед смертью  
.....  
Боль — когда тело цепляется за  
взгляд, поворот головы, чашку, воду горячую, мыло, одежду.  
Всё это канет в простую вселенскую осень,  
как в Клязьму (её берега круты и покрыты монашеством  
ив кротковольных).

35

.....  
 Предчувствие радости высшей преображает  
 радость земную. Она расцветает, как не умеет цвести среди  
 плотных вещей,  
 она озаряется, светит! Она будто лист, мягкий и тёплый,  
 на антраците, асфальте,  
 она асфоделия радости в нашем аиде земном.  
 Осень —

.....  
 и поэт обнимает всю землю, и пестует будто ребёнка  
 планету свою,  
 обречённую преображёнью.  
 Во всех поэтах есть нечто огнистое, лёгкое —  
 порою бывает и свет.

.....  
 Редко бывает, что осень жизни поэта  
 совпадает с осенью жизни вселенной,  
 и здесь завершается разговор о времени года.

### Третья (рождение)

Вот так начинается новый росток, сочетая в себе зерно и восток,  
 зрачки зарифмованы с западом, к югу прекрасная рифма: любовь,  
 плёнка билета разорвана: возвещается ангелом срок.  
 Мы все при рожденье своём приходим на север: луга хлопчатого новь,  
 людность жилищных углов, людность близких гробов.

Дитя не хочет жить, дитя любое —  
 когда б не обрученье творчества и тела  
 заветной жизни райской;  
 вот загадка любви зверей и ангелов:  
 то сфинкс, то человек.

Ангелы ходят и смотрят, касаясь изредка струями ветра  
 сна в электричке (подъехали, город Дрогобыч, продрогла),  
 школы, потного платья из полшерсти, мокрых (теперь уже вечно)  
 волос,  
 старчески мягких, невинно текущих (я никогда не смотрела всерьёз  
 в зеркало), в парикмахерских залах висит нечто грустное.

Ангелы смотрят, поддерживая сильным дыханьем  
 дыхание моё, и тело моё, так стремительно тающее вместе  
 с каким-то временем (я была старой, мне было двадцать два года —  
 потом я помолодела) ведь возраст волнуется, будто бы море  
 житейское жизни одной. Тишина прокопчённого дома,  
 духота тесностенной квартиры (так теперь не бывает),  
 шторыны синие с серебряной розой ветров —  
 вещи из ангельских рук сохраняют ароматы невинности,  
 они сродни розе и винограду,  
 а ещё землянике и мёду,  
 и яблокам; всему, что я есть не могу.

И вот я в хлопчатых полях бытия.  
 Не насекомое, малое, очень цветное, как бабочка,  
 кокон в споров шелковистый,  
 не змееносец из врат известковых яичных,  
 не из икринки янтарной малёк-вертолет золотистой скалярии —  
 нет!

Так падают с большой высоты, не чувствуя боли,

так прыгают через пропасть, чтобы спастись от погони,  
так разрывают все тонкие связи, уничтожают все тонкие вещи,  
чтоб только вкусить эту молочную тяжесть,  
которая пахнет немного мочой (у старух и младенцев),  
истлевает и вянет, и светится фосфором — чтобы

сердце упало, услышав родное дыханье,  
прикосновенье, когда-то чужое,  
такую же кожу, но чуть поглубей,  
будто холст,  
на котором напишут —  
икону.

А ты (я, она ли — не важно)  
в недрах вождельного безвременья  
заходишься в серебристом плаче и смехе,  
всё та же, и только лишь ждёшь,  
чтобы дверь отворилась, чтоб дверь отворилась.  
.....  
И закончилась смерть.

38

#### ЧЕТВЁРТАЯ (УТОПЛЕННИЦА)

Как мне назвать и как поведать, как прикоснуться  
к заживо погребённой святыне, к утопленной в океане святыне,  
перед погребением завёрнутой в нефтяную плёнку?

О ужас, но она жива; как привидение живёт.  
Вокруг неё подгнивший кедр и медь, и золото,  
погибших кораблей носы, и ржавчина, и кости,  
слизь и нити  
каких-то водорослей.  
Так вынесло на берег поэзии тело странной гостьи  
со дна морского. Она встает из вод;

Она как дива из кино, неоновая фосфорная дива,  
чешуйчато бледна, намеренно покорна, одинока,  
как будто вся вселенная глядит  
на жесты и волнения её, и осуждает фосфорную выскочку,  
за гибельную непоседливость и пережжённые локоны  
(когда-то она блондинилась и ездила на лето в санаторий).

Господь молчит, молчит и Преподобный. Он не видел женщин.  
Она для всей вселенной призрак, она кошмар мой детский,  
грустная утопленница со стеклянными волосами и серыми глазами.

Сказал Господь: утопленница будет в раю,  
когда ты ей согреешь душу.  
Но есть ли у утопленницы сердце и душа?  
Была ведь где-то, так Господь сказал.  
Зову святых, готовлю стол —  
но ведь она не ест, она не говорит,  
она иллюзия. Но если — образ  
когда-то жившей и живой волны  
желаний, мыслей и зерна горчицы?

Утопленница, фея, лучик света, жива ли ты — зову;  
чьим воздухом жива — тревожусь. Рябь воды. Ответа нет. Жива.  
Она приходит подышать, встает  
из вод  
пенорождённая.

39

Вся в путях звёзд морских и роз морских,  
холодный взгляд сирены,  
уста в поту морском и укоризненно степенны;  
она так хороша и неизменна,  
что я кроплю вокруг святой водой,  
зову святых на нашу встречу, даже  
порой лампаду зажигаю.  
Утопленница доньне и отныне  
законная моя сестра.

Она не знает слов любви,  
но я кроплю святой водой,  
как кровью сердца своего кроплю.  
Молю, взываю, и стараюсь усадить  
морскую гостью вместе со святыми.  
Утопленница любит кровь и ужасы, и суевья,  
а грудь её вся в плавниках цветастых.

Ей несколько неловко в обществе святых,  
утопленница поджимает губы  
и замирает, бледных глаз ледок  
не тает; светятся лица её уступы.  
Ей странен тёплых высей говорок.

Она отнюдь не аллегория, не творческая снедь,  
не сонная фантазия. Она всего лишь  
хотелось мне сказать, что мама. Но она не мама мне,  
не мачеха, а кто-то.

Кто она, не знаю.  
Кроплю святой водой, зову святых,  
готовлю чай. Она не пьёт. Сидит ужасно одиноко,  
в кругу святых, и думает. О чём?  
Не знаю. Встаю из-за стола и чашки промываю.

## Пятая (РАСТЕНИЕ)

Мой милый друг, я так тебя люблю,  
что жалеюсь шмелю, пчеле и шершню  
(последний как забрался в улей мой,  
прочь, прочь, разбойник!)  
жалеюсь, что сердце

исчезло у меня.

.....  
Я не люблю.

Болезни роста: на плече головка  
(я о растениях нынче говорю),  
написано на школьной доске:  
коричневый плюс белый — равно тёмно синий.  
Изумлена: да что ты будешь делать,  
когда всё так, как на доске написано,  
ведь мы с тобой сидим за первой партой.

Вот камень перед корнем нежным,  
глубоко под землёй. Корень зряч, а камень слеп.  
Страсть фосфоровидна; брат её неон  
дан ей вместо мальчика: хорошенькая пара,  
но мы не так.

Мой милый друг, я так тебя люблю,  
что научу летать и целовать зарю,  
умою облаком, и нимб позолочу  
закатом.  
Нимб ведь радуга заката,  
и твои руки — улицы Москвы.

А может быть и Львова. Я забыла.  
Но я тебя люблю.

.....  
Взорвался стебель, и тянется, и тянется туда,  
где многоточие и знаки восклицанья,  
а графики стиха и тяжести как нет.

Смысл стебелька тяжёл, он тянет вниз, к корням.  
А вот коренья, чьи слова легки, сбегают вниз, съезжают по перилам;

их смысл воздушен. Как и мы с тобой, ведь я люблю тебя.  
Я сотню раз, я тысячу люблю тебе шепну.  
Вот одревенело напряжение, и стебель замер.  
Почка налилась, стеснила кулачок упругой волей,  
а та гуляет, будто сок стеблей, туда-сюда.  
Гуденье вешних вод, и говор крови, и болезни роста;  
вдруг юное упало существо как шелуха от почки.  
Но листок — взгляни — летит,  
играя тканью рая.

Брось напряжение. Веянье листвы, особенно берёзовой,  
послушай. В нём полёт искомый,  
ведь человек летает лучше ангелов, и золотится плоть  
не яблоком запретным — благодатью.  
Возьми её. Пусть не из рук моих, из чьих-то.  
Мы с тобой прекрасны, ведь мы с тобою — тысяча пространств,  
мы вздох. Ладонь к ладони листьев.  
Лети, любимый.  
.....

42

## АРХИТЕКТУРНАЯ ЭЛЕГИЯ

Чем ближе к смертной постели, чем холоднее телом,  
тем вещи яснее и проще. Так, что порою слегка пугают меня.  
Некогда слышала я, что души любимых и близких — это костёр,  
некий вечный огонь посреди плоти, похожей (в сравнении  
с жизнью нетленной)  
разве что на поминальный гранит, и за то благодарность родным.  
Кровная связь насилует душу, а порой и совсем не нужна,  
когда уже ясно, что есть этот город, с оранжевыми, как тело, боками,  
с колоннами белыми под невысоким фронтоном.  
А внутри потолка высоки и пол жёлтый, натёртый пронзительной,  
будто медовой, кирпично-лимонной мастикой,  
а поверх скользит синий хлопчатый — сказать половик? —  
но это была дорожка.  
Улицы города были открыты, так, что нельзя сесть не на тот автобус  
и уехать куда-то, где всё неизвестно и ново. На окраинах  
были большие коробки строений и лишь видение ада того,  
в котором живу, но видение, чуть озарённое солнцем, и потому  
даже приятное: отпустили с уроков — ведь умер Брежнев. Но площадь  
осталась; со сквером внутри, в самом центре, и с универмагом,  
на фоне которого флоксы румянились и бушевала сирень.  
Слева, неким зелёным дворцом, восходил главпочтамт.  
Там жили посылки и голоса с улицы Дачной. Порою мне  
приходили от них извещения.  
Какие родители, какие друзья и учителя, когда вот переход, от сквера  
к остановке автобуса, и надо идти побыстрее, пока старомодный  
светильник  
смотрит глазом почти изумрудным, и номер автобуса мой,  
только мой.  
А с вокзала железнодорожного никто никуда не уехал.  
Но если перевалить за поросшую ивами насыпь, откроется рынок,  
с яркими рыбками в новых пакетах, — и вот они, десять копеек  
на корм.  
Здесь будто бы нет тех, с боками дощатыми, улиц, по которым  
любила ходить,  
нет магазина цветов с бассейном и фонтанчиком. Там были сосны  
как струны,  
и улица вся начинала псалтирю звучать. Всё состоялось бы  
и без участия  
тех, кто на некое зыбкое время стал причастен твоим  
отражениям здесь,

43

не понимая, что и без них эта песня сложилась бы, хоть  
и по-другому, но всё же сложилась. Что и без них, покровительством  
и другими устами,  
архитектуры,  
ты построилась бы так, как теперь — не убавить ни звука. Однако  
косяки в старом сталинском доме подновлены. И столетник на окнах  
говорит о других, с кем родство было много сильнее,  
ну, примерно как с площадью или с заглохшим вокзалом,  
где лишь несколько ржавых вагонов  
ждали финала истории.

## ИЗМАЙЛОВО

### I ЭЛЕГИЯ ЗЕМЛЕ

Земля дышала искренним теплом, земля дышала,  
её душа любимой быть желала, и ласилась земля к прохожим людям,  
как обезумевшая юная вдовица, как старая ведунья, кланчила  
себе тепла и ласки.

Земля дышала, поднимая ветер, а ветер вёл за руку листопад  
в Измайловский чертог дубов и ив, в чертог седого и весёлого покоя.  
Рябина, листья, небо — весь пейзаж. Ни облачка.  
Природа веселилась, как новобрачная, стелила сухотравье,  
бледночернильные и пурпурные ложа гвоздики полевой и мальв лесных.  
Земля лежала ниц, как пьяная дышала, почти что страстно, даже горячо,  
а солнце шло гораздо дальше, чем ей казалось.  
Токи сил земных, о вы, мне с вами говорить-то стыдно, что вы  
не завершаете слепое движение своё порой осенней? Ваше вожделье  
позор всему творенью. Лишь безумец обрадуется маленькой  
весне в Измайловском.

А нынче осень. Поэт и осень, русские стихи. Не в камнеобразах ведь соль.  
Тяжба сил древесных и ангелов неразрешима: ангелы виновны. 45  
Они осуждены, они как слуги, как няньки людям и земле наивной,  
что раскрывает лоно трав сухих печальным влюблённым.  
Осенний Ангел глядит на ветошь сгнившую у ивы  
как будто на могилу. Взмах руки и крыльев: чу, прохлада! И над ветошкой  
уж вырастет папоротник тёмный,  
рыжеющий, седеющий зимой,  
в листве его я слышу дух сырой неутолённых душ  
дух проклятого, пьяненького тела.  
Взирает Ангел, будто робок он —  
и вдруг бросает прядь цветов осенних,  
гвоздичек, мальв — тогда осенний луч  
касается намоченной низинки,  
где скоро соберётся хрусткий лёд;  
и знаком, что душе погибшей легче,  
становится бранчливая оса.  
Влюблённые в движениях своих не совпадают,  
они проходят мимо. Солнце смерти,  
как будто через тёмное стекло,  
сквозит через пейзаж: берёзы, травы;

здесь столько трав, что жителям лугов —  
 кикиморам, русалкам и полёвкам,  
 кротам, врасплох застигнутым совой,  
 оно становится великим утешеньем, и смерть смолкает.  
 Остаётся солнце.  
 А небо за дремучею низиной, где ив обитель сестринская приняла  
 берёзку,  
 светлей и легче. Легче и светлей.  
 Там синий пруд. Осенняя вода.  
 Она одна лишь знает, что предстоит зимовье, она темнеет, как глаза  
 от боли,  
 и ветви вздрагивают, будто мысли о зиме  
 так просто сбросить, как омертвевший лист.

## 2 ЭЛЕГИЯ ОСЕННЕЙ ВОДЕ

Шиповник обезумевший цветёт при стопах сентября.  
 Вдруг, ярко, в запредельном свете, при потоке водном,  
 качает мелкими цветами, зрочки пушисто золотятся,  
 плескает порыжевшими и мелкими листками, как будто май,  
 а не сентябрь.  
 Но склоны у Измайловских прудов лысеют.  
 О токи сил природы! Мне не нужно вас.  
 Когда бы знали вы, растения, и насекомые, и звери,  
 какая боль от продолженья жизни, не стали бы желать  
 и самой жизни.  
 Двойная боль весной вернётся к вам, расплатой и укором  
 за вожденное осеннее ваше торжество, за игры лета и конца весны.  
 Вы вспомните, что в обновлении скрыта боль,  
 превосходящая вселенную.  
 Пока что только человек, пlying, как юная утопленница в токе  
 мирозданья,  
 осознаёт мученье обновлений, хоть исподволь, себе не сознаваясь,  
 как случайно набежавший локон, слова молитв лепечет, и надеется  
 на руку Жениха, который вынет из холодного потока и обернёт  
 сухим бельём  
 изъеденное болью судороги тело.  
 Человек плывёт, хватается за ангельские крылья, и думает, что это  
 ветви ив.  
 Осенняя вода так тяжела, что ей смотреть в глаза невыносимо.  
 Когда пришлось бы вам увидеть очи девочки десятилетней,  
 растленной, в ломке опиумной, но ещё прелестной, с шелковистым  
 голосом,  
 вы вспомнили б ту воду и шиповник над тёмною поверхностью пруда.  
 Она рябит, несётся; светлые струи — помилуй меня, Боже! —  
 достигают неба,  
 а карие потоки горьких вод влекут на дно, на дно, и водорослей плети  
 смыкаются подвязками чулок, а ил у чрева точно плотный пояс.  
 Вода идёт, она почти у дна, темна и заповедна, с убийственными  
 блёсками зрачков,  
 фосфоресцирующих под набухшей лукой. Но возле ключевых  
 потоков будто бы чиста,  
 как сказанное в простоте душевной слово, или обещанный звонок  
 по телефону,  
 подарок к Рождеству или на Пасху, визит без церемоний, помощь друга —





Я беременна ими, я рожаю их каждый ваш день,  
плодовита, как лозы Хорезма,  
чтоб вовек не смешалось священное с прахом земным.  
Я хожу, осуждённая людом, ненавидима людом женившимся, постным,  
простым,  
будто сложная. Вся простота их — в сверхпростейшей моей легкоте.  
Я же Божья, о птицы и звери! Я же Божья, о честный народ!  
И затем средь стволов почернелых, среди яблонь ношу поношенье,  
невиновная и осуждённая всеми: зверьём, карасём, воробьём.  
Но Творец их моё поношенье напрасное  
разрешит небывалым плодом.

52

## ГОЛЬЯНОВО

### К БЕЗЛЮДЬЮ

Сон или нет? — наваждение — ли наводнение снов?  
Обезлюдевший, человек на краю — кто он и что он, не знаю.  
Иссякает словесная жизнь. Только край — Господи, что он такое?  
Край одежды сознания — или, смелей: бытия — дальше лишь нагота.  
И ничем не прикрыть эти родинки, трещины кожи, полоски и складки,  
словно дремучую сетку на кончиках пальцев, сетку сладкую — милый...  
да, это край. Значит что-то за тем,  
когда мир выросстал гораздо скорее чем я,  
поднимаясь горой слюдорудника, полной чернильной черники,  
ароматной листвы и груздей, влажных, старчески мудрых и белых,  
и волнушек, как горькие бабы ненужных, но всё же бери,  
и — потом уже — книг, от которых спасения нет и теперь — создавалось  
в первой простой тишине, создавалось, и вот — осязание края.  
Край — и образ Спасения брезжит, как некое негде окно,  
в синеве, когда ты, о душа, семилетней неслась балериной,  
с глупой чешкою в сумке (посеяла где-то другую),  
а величие тьмы тебе виделось много теплей, чем потом оказалось,  
и окно, что смотрело в тебя, было только твоё, а чужие лишь только  
похожи.

53

Холод хочет уснуть, но уснуть ему негде. И он керосином  
пробирается, чтобы согреться, под рубашку и к сердцу.  
Остаются лишь звуки, а всё видимое обнажает изолгавшееся нутро,  
чтобы ты от него отделилась. И так, только холод и это окно,  
чужое и одинокое.

Да, мой друг, холод — лучший учитель сердцу и чувствам, но  
ты и теперь далеко, даже если я позвала бы — не услышал бы, не поспешил  
сквозь пространство, время и тяготение снега на помощь. И вот он — край.  
Солей и старухами, мелкой монетой, свечами —  
ни к чему обольщение: в церковь идут по любви, нет,  
здесь край. И не важно, какой, где, и как расположен храм,  
весь край — Божий. Не важно, что жизни какой-то глоток остаётся,  
бери, и ступай. Не юродствуй, не зли понапрасну вещи,  
сошедшиеся в караул возле одра твоего, о душа.  
Что тебе дом и семья? Ты вполне понимаешь, как они далеки от земли  
и от уз её.  
Ты обезлюдевший, привидение, некий пустынный, забредший в город  
на час,

и вот, пора выходить. Миновали века, и пора выходить.  
Только как тебе быть, друг мой, несчастное тело, которое  
ждёт не дождётся, вздрагивая от ужаса, тебе предстоящего, исхода?  
Пока не сказали: с вещами! С мыслями, чувствами, воспоминаньями.  
Прочь.

Смерть стирает лишь смерть. Эта вооружённая дева,  
может быть, сельская девочка, что победила врагов своей родины,  
смерть приходит всегда неожиданно. Её не подстережёшь,  
будь ты трижды стрелец и охотник. Так что вот тебе, братец, засада.  
Но пока что — и нечто, как ожиданье любви, и тревожная нежность,  
и нежность простая, и даже надежда на что-то,  
эта сочная долька земного уклада под языком.

Что теперь делать — одно изрекать: я люблю тебя, да, я люблю...

Но ты смерти боишься, а она уже бьётся во мне,  
впрочем, даже в тебе она есть, невозвратная дева с оружием,  
и смиряется сердце. Можно его раскрошить  
как поминальный хлеб, голубям. Ты не выдержишь этого веса,  
но вот — я же дикий охотник — ешь это зелье,  
на, и вращай в вечность, двоякую вечность,  
в неизвестность и даже — смотри, тишина обступает нас —  
в радость. Но выход из ада тяжёл, и боль воскресения  
сказывается на всём теле. На что нам надежда, самое это

хрустальное чувство,

когда известно, что мы получим взамен  
поцелуев и жалости? Но радость  
преображения выше. Только лишь память войны  
и слегка искажённый слух  
напомнят о тяжести тела.

## К Гольяновским прудам зимой

Путь от начальника — от Сахалинской —  
лежит в снегу, сначала по Камчатской (жива ль дорога?),  
после Уссурийской выходишь на Байкальскую. Пруды:  
бетонные мохнатые бока прудов.

Стихов своих не помню наизусть,  
люблю стихи, что наизусть ложатся,  
но нынче минус двадцать и метель.  
Москва. Россия. Прудик на Байкальской.

Я прорастаю эти лагеря:  
пятёрки и копейки, и не зря,

вслепую, на автобусах (шатает,  
скользит, цепляется весенней клюшкой)  
доехала. Поверхность вод свежа,  
лишь точками рыболовецкой знати

помечена. Другая сторона  
(куда мне надо; значит, ждать троллейбус)  
глядит углами серыми и снегом,  
панельными телами, кафелем,

и лицами (прохожих и проезжих),  
а старые скамейки и стволы,  
и полосы, прикрывшие фасады  
домов, лежат в ладони у метели.

Троллейбус заворачивает. Пруд  
пустынен, будто всё вокруг — виденье:  
дома и люди, люди и дома,  
а живы лишь те странные названья,

и этот прудик, берега бетона,  
на дне которого в зелёной борде  
спит водяной, прижавши арматуру  
и положив под голову валун.

А здесь светло от снега. Точки курток,  
пальто и шуб чуть движутся. Тепло  
неразлично. Лица возникают  
как бы из волн каких — из волн пруда.

## К солнцевороту: Новосибирская улица

Могут ли небесные люди,  
эти живые молнии, одушевлённые радуги, во многом подобные нам —  
да, и мне тоже; всем нам, живущим на обочинах дороги в Царство —  
люди святые — или может быть, Божии первенцы, ангелы,  
эти разумные силы, небесные твари, которых с животными  
путаем мы,

могут поведать ли нам — вряд ли. Ими непостижима  
гармония возникновения жизни. Она тяжела и легка,  
может быть, она убивает как молния. Но когда первый дар  
сочетал это малое тело и эту тревожную душу,  
ещё до рождения, где-то под знаком овна, когда луч Благовещения ясен  
и прост, когда проникает он к той неназываемой точке,  
от которой растёт человек всем своим существом, изнутри и извне,  
переплетаясь как крестное древо, вясь, изгибаясь в течении жизни —  
что же?

Человек меньше и больше небесных созданий неисчислимо.  
Он несравним.

Итак, когда ты сама выбирала и волосы эти, и эти глаза, и голос, и нрав,  
с подсказкою свыше, которую ты, будучи самонадеянной даже тогда,  
не слышала,

но слова те внедрились в дыханье твоё, и вот, с ними, — ты родилась.  
Воздух рождения страшен и плотен, как вода погибающему. Ты  
знала ли, что вот так же непреодолимое солнце будет мреять  
в самой высокой точке окна, лучи раскидав на полу, как три года назад,  
солнце будет деревом пахнуть, а сумки в нелепую клетку  
занимать отведённое для жизни пространство, как это было  
три года назад.

Знала ли ты, что здесь будет нельзя умереть, что не без согласия твоего  
Божество наделило тебя тем числом лет, которое в древней,  
до разделения мира,

гармонии — и с телом твоим, и с твоим фантастическим нравом.  
Нет, ты не знала об этом. Да, здесь нельзя умереть, здесь уместнее ждть.  
Мифология стен заставляет работать, работать, а уличный воздух тяжёл  
и пьянит. Возвращаясь по Новосибирской улице, что ты найдёшь  
кроме этого дома, такого же точно как и соседний, но именно он  
укрывал тебя от непогоды, он тебя согревал, и ты любила его  
больше, чем человека, но меньше, чем книги, с которыми плача,  
в обнимку

слонялась порой по одиноким пространствам, их оживляя.  
Знала ли ты, когда появлялась на свет, что тебе будут сниться

не прикосновения перьев, а сизые лапы елей у входа в кирпичное здание,  
серебристые чахлые ели и улица полупустая раскалённым  
весенним днём,  
квадраты пространства, разомкнутые настезь и медлительность  
времени —  
знала ли? Как ты могла выбрать всё это, не пожелав, не узнав?  
Жизнь вслепую?

Но Бог не таков; насилие даже здесь безответно,  
беспомощно и просит защиты у жертвы. Нет, ты не знала того,  
что будешь болеть, плакать и подголаживать, не знала, что будешь  
смотреть  
на всё, что есть в мире, как некий ребёнок, на глазах которого  
делят на части родителей. Кто-то. Мы все безответны, но тьма,  
начавшаяся с этой фосфорной льдины вверху, перед бурей набрякшей  
как кровь,  
с этой подлой луны, — тьма, говорю, безответнее нас. Теперь отойди.  
И не спрашивай Бога напрасно: жалеть или нет её, нет, здесь уместней  
молчание.

Вот её судороги, вот её длинные ноги и ржавые руки, и полумаска её,  
видишь там, среди мусорных баков, в геенне. И даже коты  
не заходят туда. А день увеличился. Солнце, как и три года назад,  
мреет в самой высокой точке окна.

## На четырнадцатое января

Те улицы мне снятся. Даже в те краткие часы,  
когда сознание моё на дне у чашки  
бодрящего напитка. Нет, не сплю. Но вижу сны.  
Гольяново зимою.

.....  
Стены Гольянова, кажется мне при первом знакомстве,  
из мелкого камня — телесного цвета кирпич.  
Тонкие ветви (сколько можно писать о них?)  
тонкие ветви ведут неизбежно к воде,  
густой, синеватой, таинственной.  
Туман поднимается.

.....  
Дни нового года пестры, разукрашены даже огнями  
(какой от них прок?) и выстрелами, как в фильме шестидесятых —  
годов или братьев? Забыла, но помню актёра.  
Да, всё было именно так. Пальто  
(обязательно серое, как антрацит),  
потёртое. Греет. И шарф переносицу трёт.  
Небо сырое и мягкое,  
сразу под ним — пятна неона  
и этот упругий асфальт — хоть ложись и усни,  
чтобы видение тихое  
вскоре ушло, как проснёшься. Но нет, не уходит.

.....  
Ты замечаешь (наверное, ты, как и я —  
осовел, а душа отекает в болезни),  
что когда объектив наведён в цель,  
не выше, не ниже, а ровно и даже несколько вбок,  
а картинка слетает, как лист овдовевший в ладошку —  
место вскоре уходит. Этот опыт проценты даёт.  
Здесь идёт третий год, с моего нашествия  
и поселения здесь. Может быть, я посол от Атиллы,  
но вряд ли. Мне ближе Аэций, и у меня даже римское имя.

.....  
Как в кино — эти робкие улицы и провинциальный асфальт.  
Люди как на ладони. Они хороши и нарядны  
(новолетие по старому стилю),  
и мне радостно тоже.

Ряд с парным молоком и какая-то стойка,  
придаток таверны, где крещёный еврей допивает унылое пиво —  
что за чушь? Тут ведь озеро рядом,  
гравий священный его, и слоистые горы  
там, вдалеке, изрисованные белой цинковой краской —  
и небом — о Боже! — и снегом.  
Грядёт потепление —  
.....  
шестьдесят пятый год от сраженья у Крюково.

## К МАКСИМУ

*Сергею, Максиму, Олегу.*

### Первая

Бездна многоречивая сохраняет источники лучше  
чем архив, находящийся на содержанье правительства, тем более  
в отдалённое время, когда мартовский снег лип как небо створожённое  
к лаврской ограде, а разноцветные лампы играли,  
вися над площадкой,  
возвышенной целым пространством, с ковчезцем внутри.  
Ограниченность и беспредельность — сёстры.  
Что нам теперь, в этой бездне многоречивой, может привидеться:  
сны о возвышенном, эти побег надежды — не всё ли в них ложь,  
подумай...  
Много ли проку в том знании, что человек повреждён от рождения;  
он кричит, нечеловечески страшно кричит, подносимый  
к Святым Дарам,  
а может ли это служить запрещением к ним подходить — не вопрос,  
и не может.

60 Но человек повреждён, а кроме того, наделён волей и разумом,  
так говорили оба Тарковских, ведь в них отобразилось небо  
накануне исхода из свалки небытия, разность воды и воды.  
Неразъяснимая внятность и боль возвращения — всё это есть и в тебе.  
Ты видишь не праздно нечто неразделимое,  
всех живущих и живших людей в один час времени, и даже край  
глюющей ризы,  
которой будет стыдливо прикрыта земля в день суда своего,  
и ты слышишь огонь, забирающий окна в домах Петербурга,  
а сардинский посланник, широким манжетом пошевелив,  
указывает, поверх масонов и иезуитов, на лагеря и колонии,  
на даты и даже порой на события — словом, на всё неужённое  
коловращенье  
многоречивой бездны, для которой ты только сиделка, кормящий отец,  
некий тип, частный случай — мыслящий завиток  
пространства и времени.  
Ты и такие как ты, уходившие через снега и провалы дат русского поля,  
через бред безначалия и музыкальный дурман — к неким сводам  
незабвенного, светлости и чистоты, склонившимся над удавкой памяти,  
ты и такие как ты, значит мы, и я тоже, и все по отдельности — каждый  
до сих пор ощущает в себе осколок многоречивой бездны,  
в которой кому-то бывает приятно, но всё-таки не по себе.

Так что же сардинский посланник с глазами невыносимыми,  
мрачный беглец,  
граф де Местр, идущий всё так же по набережной где-то в месяце марте,  
и смотрящий на пламень заката, запечатлённый темперой  
на новых иконах,  
и рыдающий сердцем от тонкой и острой тоски по России,  
он ведь успел полюбить её, он ведь сентиментален... Он рыдает внутри  
от боли и лагерей, лагерей, лагерей, от обеих войн мировых,  
он идёт и рыдает, и видит всего человека будто некое яблоко,  
падалицу, ещё так сладко пахнущую мёдом. Но отъезд предрешён.  
Граф, должно быть, заметил тебя, там, во времени будущем,  
в новом пространстве,  
в этой горькой твоей новизне, общей всем современникам нашим,  
он, должно быть, увидел тебя. И остановился, слушая воздух высокий.  
Над потоком галлюцинаций свистела стрела или птица  
с какой-то запиской.  
Впрочем, о вещах нематериальных не поболтаешь. Здесь весомей  
видений  
существо одиночества.

## Вторая

Неразбериха мыслей напоминает известковые кладки  
строительной каверзы в старом московском дворе.  
Ты вспомнишь, Максим, о СЛОНе, или о Нагасаки,  
но я говорю о Сокольниках и об одном человеке, которого я,  
должно быть, любила,  
и упивалась им так же, как парком, от которого теперь остался  
только квадрат.  
Всё связано: и житие Алексия, Божьего человека,  
и эта любовь к усопшим, порою превосходящая близостью чувство  
к живущим.  
Мы смешны и нелепы в надеждах своих, и потому надобно сразу  
отвергнуть понятия,  
не существующие у Бога, иначе мы просто рассоримся с ним.  
Впрочем,  
мы и так с ним в раздоре: как с любимым, и как сами с собою.  
Так что выхода нет, кроме удобного даже юродства,  
где орёл прокатолический видимо не во вражде  
с православною решкой,  
а зарубежная церковь с патриархийной, где некая стройность  
во всём.  
Лучше, обезумев, лежать на весеннем и звонком Сокольническом  
сушняке,  
на листве и на хворосте, в небо живое смотреть, и слушать  
шёпот земли,  
усиленный полостями многократно, и внимать запахам ржавой  
окарины, свежего хлеба,  
вечернего холода, выдыхая дым странствий, как бывает возле вагона,  
в тот момент, когда закрываются веки пространства, а состав ещё  
не тронулся с места.  
Так что будем писать друг другу длинные письма, вот как это —  
Серёже, Олегу, тебе —  
выдавая их за документы эпохи, ведь с нас станется.  
Мы почти невменяемы,  
мы посмешище для кукушатника, но нас ведь сравнительно много.  
Тот о ком я рассказ начала, не противоречил обществу,  
он просто жил, как умел; но в том-то и дело, что жизнь явление  
неподцензурное.  
Она есть, и есть вера, несообразная политике вера; есть и злыдня её,  
суеверие, или, что то же — безверье, дикий полураспад

белок сознания (или белков). Но ведь мы невменяемы здесь,  
где вместо времени сыворотка,  
где снимают с души почти что все ленты, дарованные ей  
при рожденье,  
где счастье уходит на запад и за горизонт, а восток смотрит  
недружелюбно,  
где в процветающих странах боятся покойников и похорон,  
где боятся невзрачной болезни,  
где всё трчено патиной смерти (но, согласись, даже красиво порою).  
Однако, всё это дичь, и они дураки, а мы невменяемы только для них.  
Так что лучше прослыть дураком и сидеть весь остаток жизни  
поднадзорным таким глухарём, воплощением тихого смысла,  
и тихонько попискивать богу о том, что ты видишь: порой, иногда —  
Чаадаев нас понял бы. Но посмотри, как занимается запад  
пламенем новым, идущим от тех лагерей, что построил Святитель,  
и как в наших краях, где бытует народ, скорее похожий на оборотня  
(так выглядит образ его),  
проявляются новые части, с печатями, с патиной смерти.  
Однако не все письма написаны, а сумасшедший всё жив.  
Сокольники в летние дни не так многолюдны, как кажется.  
Там хорошо посидеть, в небо смотря и молясь  
об обрученье церковей, зарубежной и патриархийной,  
как о здравии молясь. Жизнь как вера — она всё-таки есть,  
и юродство не так уж вредит ей, хотя все мы виновны  
в скоморошестве разума.

## Третья

Пугачёвщина необратима, как заражение крови —  
богоискательство, самосожжение совести. Переворот Пугачёву  
не брат.

Так что же нам делать, Макс, ведь и мы невозвратно больные,  
без рангов, чинов и даже без высшего образования.  
А было бы славно — подумай! — стать неким идальго.  
В Москве, в сердце новой империи, кровных сношений  
в сетях круговой поруки, растущей, как некое щупальце,  
из вещей стенаний  
о том, чего нет, да и быть-то совсем не должно, а поди ж ты... —  
в сей Москве, в городе вечногорящем —  
живы только младенцы кричащие, да наши с тобою останки;  
надежда на партизанщину нового рода — липкое платье

новорождённой  
истории, ещё рыдающей перед Святыми Дарами у памяти на руках,  
в масоном заложенном храме, освящённом по православному чину.  
Но Бог непредвзят, я знаю это наверняка, как дышу,  
и огонь его синий, высокий входит остро в сердца —

после двоятся они,  
разрываясь от жажды поверить Христу и от кровосмешения правды  
земной.

Кириллов и Шатов мертвы, а жив эсер Николай Чайковский.  
Пожираются вёрсты и времена, вскрываются письма из ссылки,  
они подтверждают особым наречьем, что там, в отдалённых местах,  
зарождается новое царство. А здесь, в ограниченном мире,  
больше галлюцинаций и домыслов. Сюда надвигается ветер,  
опьяняющий пасмурный ветер под небом приморским,  
в Москве невозможным, но приходящем сюда  
накануне больших изменений.  
Галлюцинации носятся, и порою они более плотны,  
чем кажется нам.

Что нам до их лупоглазых явлений, не стоящих даже прохода в метро.  
Память плачет как мать; понятие памяти можно считать  
материнским.

Но переломленный луч света падает на зрачок, в нём вызывая некое  
столпотворенье  
имён и фамилий, поди ж ты... За голубыми горами, под голубиною  
книгой,  
в доме блаженном, что сокрыт горами и хворостом — всё население  
земли.

И не оттуда ли то чёрно-жёлтое племя с флагом нелепым, юродство  
без смысла,  
жажда отдельности и распадение в прах, чтобы ветер

гражданской войны  
разделил чёрно-жёлтых и белых, и после, на вечные веки,  
до скончания мира шла война эта в нашей с тобою крови,  
шло всё это казачество, это махновство и пугачёвщина

продолжалась,  
как ни души её. Ею Россия живёт, и пока пугачёвщина есть,  
будет слышен стук молота, взятого Ноем, чтобы построить ковчег.  
Не важно, что мир утопает во зле. Солоны воды,  
горьки они, как воды роженицы. Важно, что там,

в глубине существа,  
так похожего видом на нас, но присного Богу,  
совершается некое таинство — решка к двуглавой власти,  
ополчение истины. Так подоплёка опричнины, беснованье неправды  
лезет наружу, харкая кровью на тонкий листок.  
Мы не солдаты, да, мы ополченцы. Мы сброд одиночек,  
осознавших, что вера сильнее нужды. Но порой мы не чуем вины  
в белогвардейщине совести.

## К ЦАРИЦЫНСКОМУ ПАРКУ

I

Друг мой, мне больно, что с нами — но не судьи мы времени.  
Время подобно полой форме, звенящей в опустошённом  
пространстве.  
В каждой точке Москвы я как дома, даже на юге столицы,  
где Каширское шоссе  
напоминает Владимирку, а синеглавый с орлами собор  
некую лавру будущего. Мне больно, что с нами.  
Горек весной салицилловый вербный запах, он неотделим  
от запаха тины,  
мутной тоски, излученья тяжёлых вещей и напрасных мечтаний,  
только Христос Воскресе чуть различим  
с точки зрения унывающего — сегодня память Марии Египетской.  
Надменная небрежность и похоть женить свою жизнь на мечтах  
во имя истосковавшейся по знакам внимания цели — что это с нами?  
Здесь, на квартире, или, считай, на флэту, в этом исконном сарае,  
где шестилетние дети глядят как законченные паразиты,  
а матери делают вид, что весь бардак вокруг них гармоничен,  
в этом ещё не закончившемся предвосхищении,  
в этом наркопритоне без средств и без кайфа —  
какая прогулка быть может по парку в Царицыно? Стволы обуглены,  
перья у птиц напоминают о трауре. Болотины чуть зеленеют,  
газоны покрыты зелёной краской. Кто увидел бы нас,  
не заподозрил бы в причастности к христианству.  
Что это с нами? И эти деревья, эти липы и тополя,  
среди гуляющих пар, заменяющих парку деревья,  
эти угольные стволы, эти беспомощные веточки —  
они ведь как жёны, которых и бросить нельзя, и любить...  
но мы любим всех и во всякое время.  
Обирают Царицынский парк. Лишь профиль дамы  
тридцатилетнего возраста, несколько даже холодный,  
пугает древесных дев, а утешать их приходит наш леший.  
Неряшливая лёгкость бездумности овладевает,  
но с нами не так. Это беспечное разрушенье, эта щелочь,  
эта — потом — кислота опровергает законы природы,  
опровергает натурфилософию. И вот небо огнисто морозное там,  
над Каширским шоссе, а купола храма сливаются с небом и  
орлы входят в вечность. Лишь некая женщина,  
видимо, чья-то жена, вся в платке, ходит утром над развороченной  
почвой,

над заржавленной сталью, над располосанной глиной,  
над Каширским шоссе, над землёй, потерявшей название своё.  
Господи, что мы сделали с ней и как мы стыдимся её!  
А она, не оставляя нам даже гордости, всё хорошеет и расцветает  
к новому Вербному воскресению ивами, чуть зеленоватыми,  
шёлковыми ивами, этими горькими тополями, этой нечеловеческой  
лаврой,  
с этим страшным мостом над болотиной, а глинозём разворочен  
слева,  
и весь пейзаж при входе в Царицынский парк неизведан. И будто бы  
нету Москвы,  
а случайность людей и собак лишь подтверждает, что созданы  
эти пространства  
для кого-то, кого мы не знаем — хоть для китайцев. И ветка вербы,  
как первый цветок жасмина, обозначает радость  
об окончании смерти.

2

Незавершённая пространства вызывает обильные слёзы,  
как от газа. Пространство раскроено здесь, на юге Москвы,  
чуть разлиновано, чуть припорошено зеленью,  
пыльной от алчности и автомашин. Эта боль,  
поднимающая выше позеленевших орлов в тёмно-синем небе,  
уже вовсе не боль, а новая степень свободы.  
И вот, надышавшись свободы, душа возвращается к глине земной.  
Царицынский парк, розовеющий кровоточивыми стенами,  
свидетель каких-то веселий и грёз,  
под сосной, на поляне, расскажет о многом. Он косноязычен,  
он недопустим, в этой странной одежде из нового полустекла,  
припараженный, бодрый при входе, а внутри исполненный тусклых  
ветвей,  
тинных болотистых мест, по которым гуляют какие-то новые люди.  
Будь я резче, я бы спросила: а точно ли люди они? Это только детали  
пейзажа.

Огнистое солнце, почти что малиновое на горизонте,  
и турецкий осколок луны обозначают расцвет стеностроительства.  
Древесные кости противоречат. Но без них и не обойтись.  
Оппозиция жизни и стенок — без оттенков и многозначности, просто,  
видна в траурном этом пейзаже. Дым кадил, дым сожжённого  
хвороста —  
всё панихида по разуму. Остаётся только весёлое будто безумье,  
бесплодное и неизбывное, привычка жить и не думать о том,  
в чём ты живёшь,  
а понятно, что на помойке, и это всерьёз, потому что как все.  
Одни лишь древесные кости, обугленный траур пространства  
и времени,  
письмена на свитке небесном, возносятся в это железно синее небо,  
но не случайно узнаешь в лице приходского священника  
питерского приятеля, и ток пробежит по костям,  
вдруг они зацветут, будто вербы, и смех русалочий переплавится  
в птичье пенье.  
Приближение Пасхи Христовой узнаётся по этим болям  
и несчастьям.  
Как ты справишься с ними и справишься ли — не важно,  
а Каширское будто шоссе вперевалку бредёт, как Владимирский тракт,  
и сколько-то есть ещё лет,  
обугленных как липовый ствол.  
Нет, спокойствия нет здесь. А если писать о Христе,  
для чего эти строки, идущие словно мокрота

68

слёз и досады? Мы умерли; русских уж нет, есть китайцы.  
Но как было в Египте, среди жестоких весенних пространств —  
я вспоминаю, а самой хоть бы капля Его милосердия! —  
Сам Христос возле нас. Он взирает на нас, как мы умерли.  
И он скажет, как некогда первомонаху:  
вот Я, здесь. Я носил тебя, друг, на руках.  
Но мне больно, что с нами. Мы заброшены в эти пространства  
как во вражью землю. Нам равно и жить, и уйти.  
Но вот время: оно будто сходится в точке  
воскресения мёртвых. Не знаю, когда началась  
эта чудо-заря, эта дивная лестница в небо,  
с нами Силы Небесные. Где-то поблизости Бог,  
Сам Христос отирает все наши болезни. Как нам выдержать руку Его?  
И Царицынский парк — воплощение короткого сна.

69

Квадраты ветвей и пространства чаруют. Из дымчатой почки развивается лист нагловатый, ненужный, но так безнадежно живой. Я же, взирая на это доверие к миру, заливаюсь внутри птичьим плачем, меня не остановить. Славься, дымчатый лист, на поляне, под дикой сосной, на которую едва не молились племена волосатых людей, приходившие с жаждою чуда. Нынче здесь землемерная нить. Что же снами, Царицынский парк, сладковатый в начале июня и разбухший, как будто утопленник,  
в марте?

Где разумные речи твои, где изящные липок прогулки в чёрных платьях? На месте земли лишь настилы, погосты и доски. Призрак дерзкого духа какой-то великой княжны и потёмкинский смех раздаются в речах иностранцев, а домашний оборвыш в толстовке смотрит слишком уж умно. Что же видит он там, в этом будущем, странно пестрящем, и пустынном, и зыбком, как некий мираж? Но быть может, он видит орлов, недоступных, идущих по небу, раскалённому вдруг ото льда? Тёмно-синему, плотному небу, ополченскому небу, где высшая власть завершает совет о строении, и все кости империи встанут на миг, чтоб их перекроило рукой пугачёвщины. Облака на куделях бород, завывание ветра похоже на слова партизан. И как подтверждение — некий нестарый священник, этакий батька, похожий на питерского еврея, сына русской цыганщины. Его зовут Макс — имя запоминается сразу. Он откликнется. Здесь, на поляне, крылился его школьный пиджак, а худое и странное тело обросло сединой. Я не могу без слёз читать его письма, но священник был очень похож. Подобно юридивой, уловила частицу добра в этом сходстве. Здесь, на этой любимой поляне будто некий гаруспик раскладывал  
камни,  
сумерничая в преддверии будущей жизни, и вслед за ним Конхобар, древний ирландский король, наклонялся над мозгом  
великана Месс-Гегры.  
Время отчалило вдруг и умчало привычный уклад.  
Но призрак уклада бредёт  
по остаткам флэтов, на которых одры девяностых стоят как погосты. Грядущая жизнь, тополино-терпкая, клейкая, будто чужая, но такая своя, вопреки всем глумленьям, болячкам и злу, поношеньям кликуш и братков, забирает всё больше пространства

и ваяет его, будто глину из берегов пруда Царицынского, в нечто новое, что невозможно представить. Что же с нами, мой друг? Отчего так царапает чувства гармония эпохи и времени года: новый Пост, он Великий. Поэзия, не признавая спокойствия, разливается вширь и мгновенно потом высыхает, чтоб оставить всю соль свою в душах людей. Не уничтожить её. Но мне, Господи, странно, что теперь, в этом новом и призрачном мире, те же муки и лагеря, будто не было массы китайцев и конца  
двадцатого века.  
Что ж, китайцы! Вот вам наш царицынский парк. Вряд ли вас впечатлит  
его чахлая зелень.  
Но кровоточивые стены, как иероглифы русских, вы сохраните,  
и Царицынский парк  
развернётся в новом пространстве как повесть о тех, кто сюда приходил.

## ЭЛЕГИЯ КУЗЬМИНКАМ

В. Ф.

72 Лес лиловый наивный — не лес, а разросшийся парк,  
белый-белый хозяин с волчком у пруда неприметен,  
где лазурный художник под утро научит собак  
петь какие-то странные, дикие, очень осенние песни.  
Вот мы из лесу вышли, и если снять плёнки скорбей,  
буду я с ноготок, так легка и сильна, что вестимо  
отнесу тебе хлеба, сияющий агнец мой и водолей,  
чтоб жена твоя глиняной росписью вдруг зацвела, наподобье кувшина,  
чтобы мелкая сошка, играя, все стены покрыла письмом  
о которое джунгли сломаются и не наступят веки  
на осевший под бременем горя московского дом,  
там енот ловит белку, там вечно живут человеки.  
Белый-белый хозяин, московский лешак, домовый,  
нет, повыше бери, агнец мой, заповедное племя!  
Среднерусские рифмы настали осенней грозой,  
а по парку Кузьминскому ветер несёт опоздавшее семя.  
Я истаяла здесь, на глазах, я сюда возвращалась всегда,  
и теперь уж нет во вселенной такой разлучающей силы,  
чтобы вместо хрущёвки остались лишь котлован и вода,  
ведь сама я отсюда какую-то воду носила.  
Фотографии прошлого, книги из прежних годов,  
всё не вещи, не время, о бедный мой агнец! Святыни.  
Мне сюда не вернуться. Но ты будешь жив и здоров —  
навсегда и во веки веков, будь здоров в этой новой пустыне.

## К САХАЛИНУ

1  
Я пришелица в мире железных дорог и летучих вещей, в переполненном  
мире,  
однако ладья моя умещается в нём без остатка, и порой мне кажется,  
что я живу.  
Живу как родник, как лампадное масло и жидкое мыло на боках  
у сосудов.  
Мне сладко воспеть то пространство, в котором я отродясь не бывала  
и даже не буду,  
это слава пространству тому, где порой электричества нет, где нет  
пресной воды.  
Там есть остров и соя, есть привкус японской строгости лёгкой и вишни  
весенней,  
там есть остров и острова, на которых японская вишня покажется  
русской.  
О Сахалин, где под тонкой платформою почвы ходят вещи рыбы  
вселенной,  
возвещая её завершение волнами и ветрами, идушими с той стороны  
бытия.  
Сахалин! Я не видела острова торс и плеч побережья, не видела локонов  
зелени,  
ни камней, ни песка, и не слышала запаха почвы горячей, ходящей  
под стопами жизни.  
Ты не снишься мне, о Сахалин, но как быть без тебя?  
Даже если сотрут место твоё на карте, влажный ветер восточный в марте  
мне возвестит  
о начале пути, и японская прозрачная луна прибудет ближе к апрелю,  
а в августе грозном зарницы отметят начало путины.

73

2

Что за небо, о Сахалин, над тобою? Невероятно широкое небо,  
должно быть, всё в тучах или горящее жуткой лазурью,  
военной нежностью.

Сахалин как мечта, для которой не жалко и жизни,  
ты любовь, ты идея и родина; больше, ты как последняя связь  
с миром живых.

Русская речь нынче только в музее, а всё остальное есть  
обесценение речи,  
и да простят мне друзья, не отвечающие на мои письма.

Всё вокруг борзое; я же люблю тишину; всё лишь иллюзия;  
чтобы не забираться в дебри кустов сахалинских, скажу, что я слишком  
плотная  
для всех живших и погребённых иллюзий; нет ни одной не погребённой.  
Радость умирания надежды, или, на языке безответного мира, мечты,  
не сравнится с радостью родов свободы. Тянется грусть, а досада легче  
со временем,

оболгана красота, дар изъеден червями; дремлет седой Сахалин.  
Сайра идёт на огонь, на красный фонарь. Ты смотришь, о сердце моё,  
человек,

74

ты говоришь мне, что невозможно не смотреть на гибельный этот поход,  
что нечто есть в нём вроде восторга от поражения, той же мечты,  
осьминогая сладость.

Для меня Сахалин молчалив и бессвязен, как будто младенец,  
он беззащитен как тяжкоболящий. Сахалин прекрасен  
не своей удалённостью  
или близостью русского слова, а досками тощих строений,  
ходящих над жабрами рыб золотых из финала вселенной,  
он прекрасен ветрами и чудо-волнами, и налившейся вишней  
в солёной воде.

3

Сахалин как поэзия нынче; кроме туземцев любят его лишь чудаки,  
но мы с тобой тоже любим его. Благослови этот остров изгоев;  
на изнанке всего бытия,

в ожиданье Суда, мы с тобой там пребудем. Волны касаются берега,  
будто спросонья  
один человек узнаёт о другом, жив ли тот, или умер касаньем  
пугливой ладони.

Здесь объятия волн совершенны, и нет никаких других, которым душу  
можно доверить.

Берег жив; на пространствах его лежат трепетные стручки кальмаров,  
как вести о давно пережитом на той стороне бытия. Скалы наполнены  
птицами.

Здесь, на ограниченной океаном земле, никто не ищет во мне досужего  
смысла,  
никто не ищет в стихах моих слова напрасного, жёстко собранной  
формы,

здесь в отлив обнажается дно откровений, а в прилив возникает дыханье  
свыше.

В ясный день воды моря пронизаны солнцем. В шторм и почва  
сама промокает,  
кажется, что последняя эта обитель идёт на дно как некое судно.

75

Тогда, отводя словом прочь безумные локоны тьмы, наблюдая  
излучины мрака  
посылаю свои эс-о-эс, не смущаясь, что надо просить. Ведь просить  
мне нельзя,

я пришпиlena гордостью к одному способу существования:  
никогда не проси, лучшее раздари и мирись с тем, что о тебе  
просто забыли.

Но когда волновая мгла из финала вселенной сюда достигает,  
я пишу и звоню, как покойница, и мне отвечают  
с разной степенью чувства.

Вдруг поглощая его, я смиряюсь с бессильем юдольским,  
а дыхание мглы утасает,  
уступая лучам не вечерним над неизмеримым моим побережьем.

Сахалин как поэзия. Огромна цена расстоянья, это мера спасения,  
мера новой и радостной жизни, в которой нет и напоминания  
о безвестности чуда.

ПОХВАЛА БЕССОННИЦЕ

## ПОХВАЛА БЕССОННИЦЕ

Всё зыбко во время бессонницы: прежние дружбы,  
возобновлённые через провал полусна в свете далёкой лампы,  
вкуса в них нет, и запаха ладана тоже,  
ведь сердце уже не трепещет барашком  
на звёздочке медной, простёртой над пламенем белым.  
Нет, в зыбких дружбах, скреплённых вишнёвой смолою  
чувства безвольного, радости нет,  
а вот в бессоннице чудится уксусный привкус,  
палочки винного камня, и вся она как виноград.  
Я люблю виноград, мелкий, сладкий, убого наивный,  
все мы как нищие. Слава бессоннице винной!

Всё плывёт по волнам неземным во время бессонницы.  
Слава её прозрачной воде, на морскую ли, океанскую воду похожей.  
Мирное пение ранней обедни, венчающей бедную ночь,  
остаётся в бессоннице волнами, слышатся звуки прилива.  
Вкус морской, звук морской, волнование мира морского,  
все мы как под водою, просветы в гряде облаков,  
этот северо-северо-восточный ветер, воду с небес приносящий,  
умиляет усталое сердце. Мир подобен кресту,  
на котором Бог спит смертным сном. И все наши бессонницы в нём  
сплетены, а их нити стремятся в грядущее.

Ожидание сна будто память о смерти. Сон и смерть сплетены.  
Обездоленность в сонных полях нечто большее, чем недомоганье,  
то судьба или предвосхищение жизни без сна.

## БОСИКОМ

Не самость в нас, а любовь велит уступать друг другу день смерти.  
Самость исчезает в любви, как шасси в самолёте, и самолёт  
летит босиком.

Мы оба о том позабыли, что мир наш, с книгами,  
с маленьким телеэкраном,  
катушками, лентой магнитной, кассетами, с ровесником и весною  
уходит прочь, как образ на фотобумаге, размокший от пота,  
как чепрак ладонки бабкиной, как растворившаяся в поту страданий  
цепочка креста.

Крест алюминиевый, да, Господь выбирал металл самый лёгкий,  
авиационный и нержавеющей, для нашего самолётника.  
Самолётник босой летит в ледяных облаках.

Не самость в нас, а любовь ревнует о смерти.  
Ты ль собираешься жить, исполосанный сладостью, истекающий  
гноем отчаянья,  
икона, облитая водкой, цветок одиночества, ты ль собираешься жить,  
в тебе ль жажда жизни и озноб от неё; не поверю, что нужна тебе  
эта земля.

Посмотри, во мне ль она есть, я пьяна бытием и меня воротит  
от нелепых новостей.

Мы оба внутри прежних комнат, с мебелью рыхлой, с книгами  
и чувством из книг,  
наш мир умирает, и мы ещё будем плясать на его поминках,  
слушая вопли английские пьяного парня, с той стороны,  
пережившего некогда то же, что мы: умирание мира,  
пережившего и своё умирание внутри погибающего мира,  
самолётник босой, и время не властно над ним.

Оба мы умираем, и Господь нашу смерть украшает музыкой,  
лоскутами счастья и неким особенным светлым теплом,  
что излучает тело твоё и, возможно, моё.  
Пока есть на земле ты, не умру — пока живу, ты не умрёшь,  
но вот она, вечность, как на маленьком телеэкране, с другой стороны,  
а мы танцуем на своих гробах босиком, вбирая все остатки  
прекрасного в недра своё,  
извергая прекрасное прочь из своих недр,  
такая вот песня песней, летит босой самолёт.

Праздник медленно завершается, но отголоскам его ещё долго струиться  
в тумане предрассветном.

Не знаю, жив ли ты; я между жизнью и смертью по несколько  
раз на дню.  
Во мне глубина такая, что строчки брошюр не доходят сюда,  
впрочем, и ты здесь.  
Мир наш как под водой, геология человека, тектоника его.

Жизнь за гранью боли и наслаждения, за гранью света и тьмы,  
за гранью мира и войны, за гранью добра и зла.  
Порой в грот к нам заходит серый кот.

Всплески ярких танцев, предсмертная дрожь, танец босиком.  
Я впитала всю влагу старого мира и сожжена его пламенем,  
не бойся и ты стать хлебом, время не властно надо мной и тобою,  
или мы всё ещё живы — этого я не знаю.  
Где ты летишь, самолётчик босой?

## НОВАЯ ЖИЗНЬ

Как принять, как поверить себе в этом жутком и новом платье  
перед зеркалом прошлого, в будущее смотрясь,  
как в глаза дорогие.  
Если бы не была я той, в чём-то льняном на плечах,  
в обуви вечно плохой,  
собирающей ништяки, сиречь, куски чебуреков на Курском вокзале,  
умоляющая тех, кто мог бы мне стать мужем и братом  
о пяточке на метро,  
так всерьёз.

Нет, я знаю иную торговлю.  
Когда я ходила босой по Арбату, по колено в июльском дожде,  
я была счастлива нищетою более, чем святой Франциск.  
Теперь всё упрёки едва ли не в красоте не достигнут меня,  
что бы ни говорило любословие.

Я была счастлива, и не верю, что это же счастье возможно  
заново пережить: ни мне, никому.

## О ВЕСАХ, ПОЭТЕ И ТОЛПЕ

Современность ничтожна, архаика недостижима, говорит поэт.  
Что мне это ваше творчество, похожее на автомашину со скидкой,  
Ещё и пары километров не проехал, а надо менять.  
Всё новое губит поэта, всё новое сладко толпе, и как быть  
весам, вышедшим из равновесия? Время остановилось,  
линии речи оплавилась от наглого жара.

...

Где была Афродита, млеет афродизак,  
череп друга продан, остались только чипсы и чипы,  
а вокруг такие картины, что не найдётся даже идиота,  
чтобы принять их как должное.

...

Но поэт слышит новое веянье неопосредованно,  
не спотыкаясь на слове и ничего не лоя,  
поэт как видение прежнего мира и отражение мира грядущего бродит,  
а знали ли вы страшнее виденье, чем Пушкин, о нет,  
литература убийственно мелка, но поэзия всё оживляет собою.  
Итак, вот вам, читатели, новый сюжет о смерти поэта.

82

Пока он читал в стенах на треть заполненного зальчика  
третьесортного столичного (или провинциального) кабака,  
толпа говорила, и, может быть, даже о нём.  
Нет, скорее о тех своих близких друзьях,  
от которых останется только пошлейшее название,  
ведь какая там, папа, богема в двадцать первом столетии:  
все маргиналы, куда ни свети, и светить-то не надо, а всё же.  
Брось, уходи. Но поэт, разрываясь, читал,  
а чаша весов, на которой он был в одиночестве, перетянула  
всех остальных. Толпа шумела и говорила,  
в ней страх перед поэтом не был осознан,  
как было бы странно, если бы он был осознан;  
какая там, папа, культура, там лишь роевая жизнь  
да названия, данные по знакомству: гений, талант.  
Брось, уходи.

Так ведь нет. На мир, сотворённый из умной фольги, льётся живая кровь,  
теперь хоть анализ бери. Этот состав, напоминающий одновременно  
воду морскую, мёд и воды околоплодные,  
только у него и остался. На все потуги восславить слиянье неслитного,  
на сочетание человеческого мозга с фольгой,

на всё электронное братство брызнула кровь.  
Возможно, поэт скончался во время чтения,  
медленно опускаясь на пол, как оплывает воском свеча,  
в третьесортном кабаке, в зальчике, заполненном разве на треть,  
в ореоле чужого ему газового освещения.  
А толпа всё так же шумела и говорила, называя поэтами всех остальных.  
...  
Сюжет мне привиделся. Я говорила с поэтом,  
а он ехал на край земли. Жив он был или нет, я не помню.

83

## В ДОРОГЕ И НА ПОСТОЕ

### Весенняя песня

Как вмерзают в лёд, вмерзаю в свою судьбу,  
в мёрзлую землю летним ярим зерном,  
а росток небесный уже на подходе.

До сего мне всё виделась дева в платке,  
закрывает окно, открывает молитвенник,  
будто жизнь ты сама себе выбирала,

будто не было свыше дыхания в ней, от начала,  
от которого ты убегала.  
А судьба наступает сильней и сильней.

Ах, писала я про небесное жало,  
тонкое небесное жало  
в небесах прекрасных, ай-люли,

Так приходит Господь,  
обручив тебе дар,  
он ведь та же душа, вторая душа.

Нет, не старица ты и не чадо.  
Так Христово зерно в землях ада,  
у тебя на руках все стихии,  
а в глазах, как и прежде, святые.

## Песня о горе и море

Он горою был, высокой и трудной, шерстью покрытой,  
полной алмазами слёз.  
Искапали его, извлекая алмазов жито,  
как сновидец желает грёз.  
Так его обглодали, как кость не глодает собака,  
а он всё цел, всё поёт.  
Гора моя, гора живёт,  
горькая гора.  
Ты моё завтра и ты моё вчера.

А я слышала, читая книги в вагоне и дома,  
утирая слёзы под землёй,  
что гора та была с ясным небом знакома,  
каждый камень на ней Богу свой.  
А с него сняли сапоги, раздали девчонкам,  
снесли хату его в поднебесье.  
Мне тоже худо пришлось, дошло до печёнок  
чужого праздника гористое редколесье.

А ты светись, даже если чужой  
твоё место занял,  
внизу горы холод, а вверху зной,  
вся жизнь повреждена, она не знает правил.  
Вот она, гора моя, гора,  
моё завтра и моё вчера.

Ложкой не выхлебать горную чечевицу,  
не пройти пешком всю столицу,  
ни на троллейбусе, ни на трамвае,  
на гусях песня о рае  
длится.

На одной чаше весов лежит мера,  
а на другой вера;  
бежит стихиры каретка,  
свистит мышинная метка  
в подземелии горном, просторном,  
алмазно узорном.  
Вот и моих слов алмазы в пыли,

вот сальные чужие стразы:  
кто хочет, ешь.

В мироздании брешь.

Всё стерпел, не съели его. Голова в небесном просторе.  
Гора увидела море. Пришёл Гость-Странник,  
меня в горе нашёл, на солнце вывел.  
Так и пошли мы с горой купаться.  
Бог даст нам теперь не расстаться.  
Эх, гора моя, гора.

## ГИЕНА

Ты была, душа моя, нетленна,  
тебе и впредь нетленной быть.  
Живёт при тебе гиена,  
гробницу приходит сторожить.

Есть в небесном Скиту монах да старец,  
ни к какой гадалке не надо ходить затем,  
что эти, кто они, монах да старец,  
собрали пожитки на вечную жизнь.

При душе моей живёт гиена,  
плачет как одинокая потаскуха, жалко её.  
Не то чтоб на душе моей разруха,  
а ведь гиене той не житьё  
от себя самой.

Говоришь: поймай,  
говоришь: постой,

да что это за слово.  
Ночью всё необыкновенно и ново.

Никого не убили, не состоялась драка.  
Идёт монах, а за ним собака.

Не собака то, а гиена,  
то душе моей перемена.

## ДУША-ЗВЕЗДА

Я спою тебе потерянную твою душу,  
приклоню к тебе небесные глаза.

Чтобы видела душа.

Как бы спеть мне твою уснувшую душу,  
что потеряли мы оба,  
как нарисовать и прославить?

Чтобы душа открыла глаза.

Какое древо жизни полить  
родниковыми слезами,  
чтобы листок вышел шёлковый?

Смотрит душа,  
а как бы поднялась да пошла  
в путь, звезда.

## СНОВА ЗВЁЗДЫ

Отчего мне Господи так:  
звёзды где, там и дорога,  
там и смерть в дороге,  
а страшно,

летит сладкой пылью судьба,  
глядят на меня звёзды.

Человек, человек,  
по судьбе своей как смычок по струнам,  
а скрипка без смычка  
весь мир.

Всё во мне, Господи, поперёк,  
милый ты мой уголёк,  
а согрел,  
не позабудь, как согрел,  
как сам сгорел.

А мне — в дороге и без похорон,  
страшно,  
смычком цыганским,  
где ночной холод  
и таборанское пламя,  
да звёзды, звёзды,

звезда и я.

## В дороге

О радости солнечного ветра между светилами городов,  
о мирные тени деревьев, примите меня навсегда.  
Не вся ли моя жизнь как стрела, вонзившаяся в кору,  
в которой всё худо невольно ведёт к добру.

Теперь надо мною крупные южные звёзды,  
ветви да в них птичьи гнёзда,  
колдобоина влажная, в ней отразилось небо,  
да щиплет бок стерня.  
Поймали меня, убили меня,  
кровью истекаю,  
пока что живая,  
а что дальше будет.

Только б тебе не было горя,  
мой спутник,  
а люди как волны,  
как волны, так люди.

А южные звёзды, как будто монаси,  
кадят надо мною,  
обещая за вину счастье.

## На постое

На какой-токой срок и морок,  
за какое-такое горе  
непогребённая на просторе,

за вино от вины своей,  
да за семь грехов-сыновей.

Что ли ты помешалась, мать,  
ни единого отыскать,

так и не о ком плакать,  
Господа понапрасну тревожить.

Ты пиши мне,  
в моей подорожной.

Или ты как странница сам?  
Ни пенять, ни ссориться нам.

## Зимней ночью

\*

Строится дом который век,  
всё больше строек на земной груди, ей тяжко,  
а пожилая женщина ребёнка рождает,  
не отказаться.

...

Один Христос во тьме к хоромам Бытия.

1

Балерины в блёстках на маленьких шапочках,  
снежинки вьются под перекрытиями навеса.  
Внизу ли, вверху некто ходит.  
Старенький, старенький,  
суровенький, маленький ростом,  
живёт за нашим погостом на стройке,  
там и прежде была обитель,  
а теперь собрались платкастые тётки, сороки-чечётки,  
без них никуда, а с ними прямо беда,  
душа криво.  
Девчонки мы, потому игривы.

2

Капли в мохнатых пальто гуртом, серьёзные тонкие лица,  
бледные слёзы,  
в глазах фольга искрится.  
Ветер на Николу-Угодника, провожатый по мокрому насту.  
Плачет коляска в снежной капусте,  
а старенький ходит, про Никольские морозы говорит.  
Жизнь хворает и судьба в жару,  
Рахиль плачет, плачет Рахиль.  
Мокрыми досками пахнет быть,  
праздник пахнет ладаном.

...

Сушь на сердце, пить оно хочет,  
будто бы умирает,  
да ладно.

...

Думаю, что умирает гнев, да кто знает.

3

Старенький, пепельно-белый, в кукульке-скуфеечке, шапочка мягкая,  
в груди у него канареечка,  
шапочка вся бархат и атлас,  
канареечка на скамеечке,  
возле сердца и возле глаз,  
а глаз-то и не видать.  
Не любит он поднимать их, глаза-то.  
Воздух весь как из ваты.

Мгла, и вьюги не превозмочь одной-одиноким душе,  
особенно к полночи,  
а порой не надо и помощи,  
душа сама весь мир вмещает,  
своим блеском звёзды обогащает,  
ты вертеп, моя душа.

Не то икона он потемневшая, резцом по ризе,  
не то вьюга нездешняя, висящая на карнизе,  
ох, упадёт, да вьётся.  
Не то чаша с песком и воском, то жёлтым, а то белёсым,  
свети-свети.  
Где бы тёплую долонь найти,  
да оттаять уста для питья и хлеба.  
Прошёл мимо — как сквозь,  
гость,  
откуда?

4

Убежала от сильного ветра в топкий снег коляска,  
ночная Николина сказка, впереди Рождество.  
Тело твоё — сырой кирпич Божьего дома,  
и я плакала.  
Тело твоё сырые леса подневольного строительства,  
без него куда ты.  
Всё в мире жалостном перевернулось:  
где осанка — там сутулость,  
где любовь, там вся морковь,  
а я гордая была,  
гнутья не захотела.

...

Храм — так зовут твоё тело,  
на снегу осевшем,  
на земле оскудевшей.

\*

Люди ли, Ангели,  
с цветными фонариками да с пением,  
по кудрям ленты ли, цветы, слухи.  
дети ли, умершие старухи,  
душа в пальто.

\*

Старенький, серенький — он кто?  
Мудрость ли, дух земли?  
Во снах зимнее море да корабли.  
А наяву Павшино-Чернево,  
да невесть что ещё.

94

## ЧЁРНЫЙ ЖУРАВЛЬ

### Зимняя эклога

Мягкий сумрак дневной сны приносит, сны — его дети.  
Кошка в свой домик так осторожно не тащит котят; сумрак заботливый.  
Солнце тревожит, не радуется, но странно веселье переполняет,  
ах, душевный сосуд не стоит на месте; ходит душа, как некая птица,  
по снегу,  
что ли свистулька, а может быть это светильник, наполненный маслом.  
Небытие было когда-то как этот вот мягкий сумрак,  
небытие отступило, а сумрак остался в напоминанье.  
Две аптекарши, в белом, одна в одно время, другая — в другое  
выходят к мешочкам со вкусами и запахами, солнце или луна,  
ночь или день. Неизвестны их имена, а вот лица знакомы, им знакома и я.  
Головокружение начинается в сумерки, звёзды взлетают.  
Ледяные пространства парят над водами небытия.  
Твердь оживает лишь к вечеру и осеняется  
светом.  
Слабость в воланах из газа готовится тщательно к балу,  
а любопытство разливает горячий напиток по чашкам.  
Все собрались, и я пью с ними чай. Слабость уходит, уносит  
тяжёлую шубку,  
с нею и любопытство, чуть позже. Так начинается вещее соло,  
за кулисой шекспировой драмы, с Шекспировой тихой улыбкой.  
Не одна, а втроём: с Богом и одиночеством. Соло  
начинается голосом и продолжается дудочкой, а завершается скрипкой,  
скрипкой со странной подзвучкой. Может быть, это уже гитара,  
некая иная форма жизни, не известная мне. Звуки важнее цвета и линии,  
они проникают везде, где есть воздух, они рассекают тьму,  
они возвращают мне зренье, огромное, яркое зренье,  
круг масляный вкусный.  
Люди слепые видят руками, слышала я. Так вижу колонны и портики,  
лестницы,  
котика серого с шерстью густой и короткой. Такие ведь крысоловы,  
так что серый, это наверно. Так вижу дверь, очень тугую, в нашем подъезде,  
корзину с бельём и воду. Всё вижу ясно, даже порой пою,  
приготавливая пищу или выжимая одежду. Пища бывает словесная,  
пища — молитва, ведь святые сравнивали молитву с хлебом.  
День завершается. Утром вернутся гости мои: слабость и любопытство.  
Что ж, им оставлю записку: вышла в лес погулять.  
Несколько белых деревьев скользят по верху насту корнями.  
Волнуются ветви. Я подаю им руки. Меж облаками лучистый просвет.  
Слышу его будто звук; он похож и на дудочку, и на скрипку.

95

## Одѣжки

Поверишь ли, нет, но я видела их, нагих и вместе убранных светом,  
золотых и седых, то было не осенью и не зимой, не весной и не летом,  
время сорвалось как плод. Песнь кружит, а я хоровод.

Обод колеса, и всё колесо из глаз.

Переливаясь друг в друга (новое подобие колеса), прорастая,  
едино и упруго, мнится, что всё и обо всё узнав,  
жить в светолитии лучей, идти как течение, обнимать всю тварь,  
греть её, чтобы не было вечной зимы, омота холодной воды,  
чтобы не мёрзли все мы, нести в себе хваленые зверей и растений,  
а птицы и рыбы нам подпевали бы. Я перепутала от радости всё: нас,  
их и себя.

Так нельзя.

А над Клязьмою стрекоза, мир ведь омутище, а ризы из кожи.

То Божьи одѣжки.

Отчего не оставить мне хвойную и соловьиновую эту дорогу?

Поверишь ли, нет, но я видела их.

## Арфа

Слово о любви и поэзии; как они в тебе переплелись,  
мне самой неясно. Дар и чистый родник, благодать. Не попрасть  
её вещностью.

Солнце смотрится в зеркало дна, травы сухие дрожат  
над старым срубом.

Вещность пронзительна — дом деревенский, трепет лоскутков  
и скрип жести.

Вещее слово спрятано под образами в бабкиной ладанке. Не видно его.

Изливаюсь так, как бы не хотела ничего оставить после себя,  
вся уйти в поэзию и к твоим ногам, мне не стыдно, не страшно.

Поэзия по-над стихией, выше собрания всех стихий,  
и потому она больше,

поэзия — олицетворение первого дара из всех, данного человеку,  
вот, полнота поэзии моей, пригородной и великой — в сердце твоём,  
о не умри от разрыва стиха, вечно дрожащее сердце!

Пригрезилось мне, что есть у тебя любовь поэта, она одевает и нежит,  
радужная сеть, шёлк венчальный, и ты царствуешь в мире поэта.

Мир поэта вокруг тебя уплотняется войлоком, исходит звездами,  
цветёт облаками,

странами, народами и городами. Каждый город со своим лицом.

Ты связываешь нити с нитями, ветви с ветвями. Мир оживает.

## ПРЯХА И КУДЕЛЯ

Прикосновенья твои, о Жених мой, мне странны и непонятны:  
то ли боль от иголки усталой,  
то ли тяжесть всей сплющенной земли на твоих руках,  
смущенье несут мне тёмные кожи твои, облекающие алмазные слова.

Слова и алмазы, которыми украшаешь,  
оглохла, не слышу, не вижу, не прикасаюсь,  
трепет и сила нездешние скрыты в тебе, бронзовый жар.  
Что я, куделя, время твоё — невеста твоя.

О прялка, о будущее вязанье, но ведь ты, Жених мой, высокая Пряха,  
не арахнеда какая, Яга, судьба моя. Вьёшь, как метель,  
как молоко наливают в ведро, завиваются струи в поток,  
целая Клязьма из молока, Омутища её, горьковская дорога, Владимирка,  
целая Клязьма-река. Звук похожий мне слышался там,

за дверью рожденья:

Каяла. Вьётся, как мартовская метель, как мартовский снег, сизый лёд.  
Вьёшь, называя меня и весь мой пейзаж, где прядей ручьи и галька зубов,  
а так же пни обид и отчаянья, ревности дикой замшелой,  
поросшей мохом,

кикимора там, ох, кикимора там кричит. Душа моя шар, и там все  
созданья твои.

Уж я населена всеми виденьями, что порождает ты:  
вот птица сирий глядит из костра, взметнувшегося выше луны и солнца.  
Луна сожжена, а солнце дымит, тёмное солнце, блистает его зрачок.  
Вот навны кричат бедному воину в чаше растений нездешних,  
они смеются надо мною, я воин и вижу твои черты,  
меня ты назвал как себя называешь.

Навны кричат голосами нежными, сладкими, разными, здесь  
и там кричат,  
поднимают фонарики душ, что гнилушками стали.

Воин сбился с торной дороги, и забывает о заколдованном тереме.  
Вот дева-русалка. Она полюбила витязя юного, дарит ему жемчуг

и янтарь,

да всё холодна и пуглива. Витязь не видел той русалки, прячется она  
в зарослях тростника озёрного. Голос да волосы, после и голос исчез,  
выпь осталась. Вот я, куделя, как выпь пою тебе песню.

Моток уже свит из пряжи моей. Месяц двоится ясный как лезвие,  
вот и душа, не узнав забытья, ступает по воздуху.

Слышишь поступь её на своих висках, милый ты мой!

Пряха несёт моток в корзину. Там спицы дремлют, время затихло.  
Спицы ли то, или часы, неизвестно. Задремала Пряха моя,

теперь ладони прохладны, как будто озёрная гладь на Ивана Купала.  
Звезда Рождества ещё только в пути. Пряха моя спит,  
песни длинные, снег ли, песок, выводит её свирелка.  
То длинная, старинная песня о том, как ходила душа, потеряв своё тело.  
Ну, и куделя, на Пряху глядя, засыпает, окружив крыльями бронхов  
земные эпохи,  
наречия и стихии, уходит под воду последнего сна.  
Лишь потрескивание да поскрипывание, звук деревянный,  
да нитка никак не может остановиться.







## ПЕСНЬ О ЯРОСЛАВНЕ

Что ти, Путивле город, пыль твоя по волосам, брание со слезами,  
кровотечение раны погибельной в стенах, над стенами,  
старцу не снилось,  
начерталось да врезано свыше, как нищета во всех людях земных,  
остальное ведь ложь, сладкой жизни как не было.

Что ти, Ярославна, мёрзнуть тут, на стене городской,  
взывать к трисветлому солнцу, как бы оно слышало тебя  
да согрело любя,  
приголубив горе твоё, косами придушенное, молитвой подсушенное,  
что мне, говорит, в том солнце, бабий заговор, слово расколотое.

Что ти, прекрасная, ни за любовь ведь какую, к ветру взывать;  
всякий воин как ветер, он был и нет его, а ты есть, кость в горле  
у времени,  
не извести тебя никаким варом, а всё кричит, и ветер стрелы носит  
то на одних воинов, то на других, а всё же он ладе свойственник.

Что ти, птица, на стене Путивля города, кричит, что не слышно,  
я, говорит, воды наберу, в шкурку-то, не пропускает воду бобровая,  
да и сам Славутич воинов моих напоит. Мне, говорит, все воины дети,  
а лада паки, что с него взять, кроме моего рыдания;

ни солнце, ни ветер, ни Славутич Днепр не вернут его,  
а я тем паче, говорит, а лишь душа его, как и я, птица,  
в саду Господнем, а в Путивле не развести печаль от пыли земной,  
ты пей не морщась неволю свою земную, да волю Божию.

## ПЕСНЯ О КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ

Добра ладья, холодна Пскова, глубока вода времени ненашенского,  
крашенка купленная ни за пятьдесят рублей, а их десяток таких,  
на Пасху раннюю.

Сирть времени, времетечение к вечности, да что там реки все,  
вот Пскова холодна,  
да счастье с запаястья упало в ненастье, а потом рыба статир нашла,  
тоже вот счастье.  
Всё не о том. Вот поминальный холм, дым над ним кочубеется.

Ты ли, Русь, твои ли поля теперь всё вокруг,  
и где Пскова бежит — тоже.

Сохранило предание, что была хитроумна, а пришла в радость,  
благословенною в женах названа самим Патриархом, золото в устах.  
О том я, что первоцвет всех лучше, а другого не будет.  
За то Богу всех сил слава,  
за первоцвет твой, Ольга, да за сон твой полуденный с хвостом  
рыбы июльской.

Пошла она ко Спасителю не потому, что в жёны звали,  
да линии родства всякие,  
туда и сюда, магия родовая, слово греческое — много чего  
в сумке осталось, не леть,  
а оттого пришла, что любила больше жара Макоши,  
да Ярилиной силы.  
Дремучий лес, и у Ольги очи лесные; смотри мне, царица-медведица.

Вот про мёд она знала, про сладость, то есть, и оттого  
по холодной Пскове вплавь,  
как сама, венки её девичий, на веки вечные, а она уже мать и бабушка.  
Что там, в Дажьдбоговой густоте да Перуньем блеске, всё разборы  
да свары,  
положено, шпоры да шоры, ножи да стрижи, беседы пугающие,  
сил нет от них,  
не чует душа их, а когда бы чуяла, не по нутру.

Любви бы, да здесь, в половине пути, во Русьем ополье,  
один на всё порядок,  
за смерти законы. Греческие колокола мёдом пахнут, ох, Ольга,  
мёдом пахнут,

да нездешним. И радоваться бы, и пить бы допьяна, да не та радость,  
а первоцвет,  
нежный, не та радость, а больше, как бы сказать — свечи да воск,  
воск да свечи,

а пламя-то, пламечко играет светлое, нарядное, и так его  
в руку бы взять,  
да обожжёшься. Любовь, Ольга, прошлась по тебе ладьёй с гостями,  
остались на всю землю лишь тишина да Троица святая,

жизнь, Ольга, жизнь, и в ней ты мне споспешествуй.  
В новой-то, а то боязно: туман да ополье впереди,

Русь ополье, река Каяла, холодная, как Пскова.

## ЯПОНСКИЕ ПИСЬМА

### Хиросима

Сансэй, поднимается ветер с Большого Пролива. Как ты нынче,  
как небо твоё?  
Я приеду весной, если мир будет благополучным. Мне совсем  
без тебя не скучно,  
надгробье твоё утешительно сливы пунцовой цветами и осенней  
прозрачной луной.  
Если бы не восходило на западе солнце, я была бы  
беспечным цветком.  
О великое небо, зачем позволяешь видеть злую насмешку над мукой  
и болью?  
Но я, как ты знаешь, виновна в пристрастии к театру теней,  
и не могу без костюма.  
Чернозубая ночь улыбается. Город исполнен огней, город их ожидал.  
Скупость пейзажа лишь паки во мне вызывает воспоминания  
о Хиросиме,  
о домах её светлых, об этих трущобах, где юность моя протекла,  
где не закончится жизнь. О, увы мне! Ведь там не закончится жизнь.  
Блеск ужасного неба для нас был священным обрядом,  
после которого можно лишь умереть, в течении суток. Но мы живы,  
сансэй,  
где ты, и как невозбранное небо твоё? Если птицу увижу,  
то будет привет от тебя.  
Лучевая болезнь вряд ли отобразится на снимке Рентгена.  
Магнитный её резонанс  
вряд ли внятен насмешникам, не понимающим длительной слабости  
к ночи,  
поздних слёз и всего, что за ними, и накануне. Я скиталась,  
меня выгоняли родители,  
а теперь в счёт завтрашних денег у меня ведь рассчитано всё —  
я купила им пищу,  
банку рыбы и луковицу. Я сперва позабыла о них, но вернулась потом  
и купила,  
так сохранить я надеюсь своё равновесие в жизни. Я купила им рыбу  
и лук.  
Может быть, я христианка, но я устаю от короткой дороги,  
а это нельзя.  
Я лежала бы день напролёт, размышляя о древних героях,  
но и это нельзя. Надо жить,

жизнь погубит меня, потому что, сансэй, лучевая болезнь есть уже  
неприятие жизни.

Чтобы есть, мне надо согреть в ковше молоко, а ведь это смешно  
говорящим о боли, страданиях, и совершающих мелкие подлости.  
Не потому что подлы, а будто бы так получилось. Впрочем,  
каждый из нас поражён,  
больше ли, меньше. Степень мало что значит перед лицом неба,  
явившего блеск Хиросимы. Так что мы живы, сансэй,  
о нас ведь не пишут в газетах, мы не покупаем ликёров,  
не водим автомобилей,  
хоть всё это, верю тебе, не имеет значения. Может быть,  
я христианка,  
а всё, что осталось, сансэй, это нежность к тебе,

и она как блеск Хиросимы.  
Лист мой, белый журавль. Я на ответ не надеюсь, но вот мои руки,  
в них кровь замедляет движение, слышно ушибы и боль, а поцелуй твои  
преобразят их в лепестки розы и сакуры майской. Я приеду весной,  
если мир будет благополучным. Я теперь как цветок Хиросимы,  
птица серая, вестница счастья, сансэй, ведь во мне крови  
почти не осталось.

Неужели же счастье земли как цветок Хиросимы, и довольна я тем,  
что мы не попали в известные центры торговли и мало что можем  
купить?

Я цветок на дороге твоей, и в тебе не будет вины, если ты растопчешь его,  
это чудный цветок Хиросимы. Хризантема из пепла лежит  
на дороге твоей.

Я лежу на дороге всех прошлых друзей, замечай же, сансэй,  
как они забывают все просьбы мои, будто я уже не живая, и мне ничего  
не нужно.

Вот зияющий блеск Хиросимы, что обоих пленил нас, и нас облучил.  
Ты учил меня жить, научи умирать. Смерть приходит ведь  
несколько позже,

чем о ней сообщает нам небо. Оно шлёт нам зияние радости,  
блеск Хиросимы,  
как возможность освобожденья от мук, и несвязанность нового мира  
со старым.

О сансэй! Ты, как и твой журавлёнок, островитянин. След цветущего  
острова в нас,  
всё зияние радости, искренний блеск Хиросимы,  
Царства превыше времён.

## НАГАСАКИ

Когда завершится вся тысяча писем, в Нагасаки вернётся весна.  
Я люблю сливы цвет над водами большого пролива.  
Знаешь ли ты, что по письмам своим ты рассеяла капельки крови,  
а теперь тебе нечем жить? Я просил бы тебя не писать,  
но взрывною волной у Большого Пролива сшибло голову мне,  
я контужен.

Мне бормотанье твоё приносит свежесть и утешенье,  
как будто есть ещё некий запас,  
как будто я не самурай и не камикадзе, впрочем,  
всё это бредни людей с континента.  
Откуда им знать о пути и о том, что жестокое небо взрывною волной  
соединило нас, как будто в насмешку, но всё же возвышенно  
и невозвратно?

Тысяча первый журавль будет смертью твоей. И я знаю,  
ты точно приедешь весной,  
когда закончатся выставки и выступленья, записи радиороликов  
и телепроектов,  
но пока что летят журавлями слова, как будто ты пишешь стихи,  
будто радость в тебе от Басё, и ты рис его крупный клюёшь.  
Я хотел бы, чтоб рис ты клевала с моей руки, и была бы счастлива.

Но ты плачешь,  
я ведь лучше других знаю, что письма ты запечатываешь  
лучевыми слезами,  
что ты тоже страдаешь от муки в преддверии ночи,

от неприготовленной пищи,  
от молчашего будто навзрыд телефона, от небрунных книг и от пыли,  
потому что все руки прозрачны твои, ты порой их не можешь поднять.  
Ты наивна, цветок Хиросимы, ты мечтаешь о Царстве Небесном,  
а я различаю одно лишь земное, где нас продают, покупают,  
и где всё решают за нас.

Здесь любовь невозможна, цветок Хиросимы, она смешана с пеплом,  
но если ты хочешь,  
ты можешь коснуться её. Золотая твоя хризантема уже расцвела,  
ты вернёшься весной.

Что ты найдёшь здесь, хоть я тебя жду? Лишь надгробье сансэя,  
заросшее место,  
а мне будет радостно думать, что ляжешь ты рядом, и уже навсегда.  
Тысяча первый журавль это ты. Здесь по-прежнему западный ветер,

блеск не уходит из неба, этого мягкого осеннего неба,  
где белеет луна над горами далёкими, будто имя твоё. Луна убывает,  
как ты.

Чёрные зубы ночи и длинные ногти, как ногти твои, голубей молока,  
высветляются заревом солнца над током большого пролива.  
Ты уже понимаешь, что счастье для нас — как тот самый  
зияющий блеск,  
единственный и неизбежный, как лучевая болезнь,  
как восходящее солнце  
с запада. Небо, ты не забываешь нас в жизни твоей.

Наверное, ты христианка,  
потому вокруг тебя рыба и лук обретают отчётливость знака и буквы,  
даже орнамента счастья, того, с журавлями и лилией. Тысяча первый  
журавль это ты. Как мне встретить тебя? Хризантема цветёт,  
предрекая твоё появление в наших местах. Ветер сильный  
с большого пролива,  
вижу ветер как радугу. Солнце восходит с запада, не изумляйся  
и не горюй.

Так должно быть. Если же мы не умрём, мы не увидим востока.  
Да, о нас позабыли газеты, им не нужны певцы нищеты и прекрасного,  
мы ж не умеем более ничего, как петь о прекрасном в простой нищете,  
не понятной ни центрам, ни прочим каким помещениям,  
так что забудь о них.

Письма твои как стихи, это тебя обучал Басё, я-то знаю.  
Луна над горами тонка, как и ты. Белая, белая луна  
над горами, она так прозрачна, будто облучена  
вместе с нами, цветком Хиросимы и ветром с Большого Пролива.  
За тяжестью всех разрушений благодатной покажется смерть,  
если встретить её, благословляя и вовремя. Так что не торопись,  
а, впрочем, мы должны быть в согласии с миром и небом.

## НОВЫЕ ПЕСНИ ЭРИН

*В. М.*

### Песня разрушения Эмайн Махи

Издавна славное племя героев приятно слуху и взору людей,  
в месяцы зимние паки, и на поверхности с жидким кристаллом  
заморских друидов они,  
светлые тени родины милой, мелькают, а что делать с ними —  
о Амарген, слово скажи!  
Эпос! В начале та ж буква у Эмайн, на русском, и мне,  
в Эрин не бывшей ни разу, зачем  
её серые камни, рыдание Эмер, супруги вздохмаченной,  
и выбитые в кристалле  
черты добродетельной сиды по имени Капля Зеницы,  
а так же все линии рта  
бешеной и восхитительной Этне. Айфе, начало судьбы, далее сказ  
помоги повести.  
Эмайн! Улицы эти, хижины, шест середины, углица и городища —  
что это значит?  
Горе отравлено, Эрин, но ты проклятое наречье мне сохрани,  
ибо мне не на чем говорить,  
знаю лишь русский язык, но меня понимают в Эмайн столице  
и древней Темре.  
Эпос! Бездная какая тебя привела в ход и не закончила тело твоё  
до сих пор?  
Что мне до Эрин, одичавшей от ужаса! Эмайн, что мне в тебе,  
говоря я,  
ради вопля Бурой Коровы и Быка Донна Куальнге. Эпос —  
рёв и обман.  
Как мне быть, что ты выбрал меня в созерцатели таин словесных,  
ничтоже сумняшеся, эпос? Эрин, вот мои руки и сердце, сожги их,  
и да навек  
поношения песня достигнет весь Коннахт с его видимым благополучьем,  
да вздуется пол, под которым простая фанера,  
в каждом доме, где слёзы текут и куски изо рта вырывают все  
нераскаянные, неосознавшие боль ухода уладов. Эрин здравствует!  
И да будет уход  
мира целого благословеньем всем, кто жаждет священного чувства  
святыни.  
Эрин, ты святыня, и о тебе я пою, имея в виду одну лишь святыню,  
небесный мой град.

114

Что ты, город возлюбленный, как не собрание душ и останков золы  
живших в тебе?  
Эмайн! Когда мне случалось идти от центрального круга к одному  
из его перекрестий,  
на перепутьи я видела старый заезжий дом, где принимали гостей;  
мир закреплялся шестами, носимыми свыше, мир грозно звенел как чекан,  
даже гибель моя в этом мире, где я, обовшивев  
от долгих отчаянных странствий,  
сидела, склонившись к коленям ступеней заезжего дома,  
даже гибель моя говорит как чекан, отзываясь колоколами  
в унылом пространстве.  
Я сидела у ног, у ступеней заезжего дома — что мне тот дом? —  
но у него было имя,  
чудное имя, о современник мой! Славное имя, не просто  
слова заклинаний.  
Всюду следы разрушения Эмайн. Теперь, наблюдая железные рёбра  
строения,  
на коленях которого мирно дремал дом заезжий, следя  
его кроткую полость,  
частые рёбра измученного предсмертной жаждой возлюбленного,  
заложника воин житейских, не понимающего в их коннахтской сути  
ни слова,  
замолкает язык. Да, язык мой останется цел, чтобы вечно молчать на слова:  
где работаешь? и не хватает ли денег? надобна ль помощь от Коннахта?  
То, что язык мой ещё не отрезан и, верно, не будет отрезан, не малодушие.  
Мне ещё нужен мой рот, не говорящий совсем по-английски,  
не Коннахт проклясть,  
а воспеть Эмайн-Маху мою дорогую, где в каждом дворе ожидал  
удивительный мир,  
новые формы её бытия и сознания. В новых пространствах  
жили новые люди,  
но всё это в пригоршне Эмайн складывалось в повесть о городе жизни,  
о будущей жизни, и выше бери о святыне и божестве. А теперь божество  
обезумело в коннахтских стенах. Городище поругано. Лишь совокупность  
пространств  
продолжает звать Эмайн-Маху, а улицы те же. Сходбище августом ранним  
в покрывале супруги рыдающей. Колокол возвещает о жертве героя.  
Соседство друида не пугает меня, одуревшую как от снадобий,  
от пути своего.  
Нет, ясна и трезва моя клеть. Ведь усталость придаёт ход словам.  
Это радость пути  
по возлюбленной Эмайн, по Эрин, по чуду земного творенья в осязанье  
Блаженства.

## Смерть Махи и начало Эмайн-Махи

115

Как тебя звали, возлюбленный,  
тело твоё и тепло твоё,  
во время бега впереди колесницы Улада  
я позабыла и самое имя твоё,  
нет, я вспомню его на возвратном пути  
из Равнины Блаженства,  
ибо тело твоё и имя твоё, больше,  
дух твой, душа твоя, о мой возлюбленный,  
меня призывают. Я погибаю, чтобы ты жил.  
Мной накормили уладов (это слова из песни),  
чтобы жили улады, и был у них город,  
в котором недолгое время продлится веселье.  
Когда я бежала, я уже словно не Маха была,  
будто нет у меня ни груди, ни лона, готового к родам,  
ни влаги, ни блеска в глазах, ничего,  
что мне было дано в одичавшей твоей юдоли.  
Ты спросишь, возлюбленный, Маха моя,  
отчего все земные сокровища смертны,  
все в океане бессмыслия погребены,  
а я хотел видеть бы всех нас в озарении радости.  
Маха моя, отчего ты бежишь быстрее королевских коней,  
отчего ты меня, обречённого маленькой жизни, послушала, Маха?  
Отчего весь наш город растёт из кровавой слюны  
губ, которые я целовал когда-то, а теперь они, Маха, они остывают,  
блекнут её наперстянки, а колокольчики не улыбаются мне,  
вороново крыло не взмывает солнечным пламенем в ночь,  
когда я расчесывал волосы Махи. Вот, упала она, но бегут её стопы.  
Не я ли хвалился на пиру королевском,  
что ты лучше всех женщин уладских, а это сгубило тебя,  
вот, кровь падает с губ твоих, и лоно твоё окровавлено,  
ибо рождение смертью сменяется для тебя.  
Ты достоянье уладов, о мёртвая Маха, ты город грядущий,  
ты одна лишь уладов недуг и радуга над Равниной Блаженства,  
но где ты живая? Я бы хотел тебя видеть живой,  
там, где сплетаются прочно все судьбы людей,  
мертворождающей матери и Эмайн-Махи.

## Кухулин в горах Альбы

Слава одиночеству — слышали вы такое?  
Какую песнь сложить Малышу в честь одиночества,  
забирающего мою радость, моих друзей,  
стерегущего далёкую любовь?

Возьми же всё, и пусть о тебе напишут  
множество книг, называемых прозой.  
Вот мой сон и моя вода, и кровь моя, ешь, одиночество,  
слава тебе, ты есть дыхание божества.

Когда предварял меня неудержимый дух Да Гда в боевой схватке,  
великолепный клич издавал мой рот,  
потому что со мной вопияли сущности всех  
живых и мёртвых героев Эрин, и моего отца, короля.

В я умещались все мы, и все мы были как я,  
что теперь? Точки пространства, и мне уже не до жалости.  
Кто теперь скажет о боли ордалий, что надобно их пройти?  
Тот не мужчина, кто любит мечтать о труднодоступных местах,

это женские басни. Малыш Ку один на один с небытием,  
я лишь то, что останется от любого после его кончины,  
с удивлением, будто покойник, смотрю на шотландские горы,  
в которых сгущается гибель моя, как душа моего сына.

Смерть покойника от руки сына! Слышали вы такое?  
Это и есть одиночество, вы, с кем я говорю  
из мест удалённых, одновременно являясь  
пугающим напоминанием о Кухулине.

О, малыш Ку! Не льсти себе, что друзья твои вспомнят тебя  
в час забав и в час радости, нет. Позабудь о куске героя,  
тебе им не быть. Но так постигается божество,  
удалением от всего, что бесценно, пока ты жив.

Эмер, на той стороне бытия, знаю, ты как заложник  
за душу Кухулина.

## Кухулин похищает Эмер

Закрой глаза во время полёта над бездной  
чтобы не видеть, как кружится голова.  
А если нет сил, чтобы плотно сжать веки, оба,  
вот ладонь моя, тебе она небесполезна.  
Не согласилась ли ты впредь на все унижения,  
связанные с именем Кухулина,  
на все насмешки и проклятия, отчего  
красота твоя окаменеет в словесном времени.  
Скажи, что да, согласилась.  
В женщине ложь как вода,  
но от Эмер остался лишь пар.  
Ты никогда не принадлежала себе, Эмер!  
Теперь я твой отец, я вместо Форгала,  
слушай, что я говорю, моя пленница.  
Не думай, что Кухулин дарит тебе свободу,  
нет, Эмер, Кухулин хуже рабства.  
Но ты уже за чертой всех людей,  
потому не коснётся тебя ни отец мой Конхобар,  
ни кто-либо из воинов ирландских,  
да и ты сама того не захочешь.  
Но вот он, твой образ. Во времени и пространстве  
не будет другого, ради которого воины оправлялись бы на смерть,  
а женщины раздирали бы платья и лица от зависти.  
Бог с нами. Однако прежде надо тебе выпить чашу позора,  
а так же прослыть ревнивой и грозной,  
чтобы ведьмы уладские прочь бежали  
от одного имени твоего, лучистоволосая Эмер.  
Затем отдай мне часть твоей красоты, а годы мои возьми себе.  
Ты, Эмер, всё, что осталось от Кухулина.

## Кухулин возвращается из Круаханрата

Что дым каштановых прядок твоих, о мой отчим, Фергус, сын Ройга,  
соправитель Улада, песенник знатный,  
поведавший нашим потомкам  
о Похищении Быка из Куальнге,  
вереска жгучая горечь возле могильного камня.

....  
Дики мне ваши споры о части героя,  
я ли герой? Я малыш Ку, со мной осторожней.

Что твоя красота и блистательность,  
о мой побратим Конал Кернах,  
твои птицы на ветках Улада,  
все их жемчужные песни?  
Я на древнем наречьи к тебе говорю,  
а ты глух, ты объелся частью героя.

...  
Огненные стены ярости окружают меня,  
но я малыш Ку, я снесу прочь крышу этого дома,  
или вам полюбился Круаханрат  
с его железною королевой?

....  
Ку, она продала тебе свою дочь, и ты не отказался от сделки.

...  
То были пути законов гостеприимства.  
Уладам позорно искать справедливости в Круаханрате.

Что ты спишь, о мой названный брат Фер Диад,  
или ты позабыл о том одиночестве,  
что сшило нас сильнее всех заклинаний друидов,  
а теперь Круахан страшнее кошачьих голов, близко полночь,  
Вот часть героя, но вряд ли ты сможешь её проглотить.

...  
Лишь малыш Ку сможет снести насмешки Круаханрата,  
прыщавой его молодежи,  
как ветер выносит кровлю с проклятого дома,  
или тебе, о мой брат, по сердцу Круаханрат?

...  
Всё, что ты говорила мне ночью, лучистоволосая Эмер,  
днём запечатывал я в свою руку,  
с прибавлением части героя,

чтобы отбросить её,  
как и весь человеческий суд.

....  
Снаряжай колесницу, папаша возница,  
я уладам чужой, но пока что им нужен,  
как и полный обмана Круаханрат!

## Плач Эмер над телом Кухулина

Кто ты, пресветлый, теперь всё равно,  
не вспоминать бы, что я любила тебя  
одиноким любовью,  
за то друиды споют мне песню позора.

Кухулин мой, никому не отдам тебя,  
разворошённого по временам и пространствам,  
без головы, прикипевшего кровушкой к камню,  
нет, не отдам. Эмер прославится скупостью.

Что ты, Конал, вызываешь меня к бытию,  
а ведь дай мне его с головою, живого,  
исцелённого от всех своих ран — слушай внимательно, Конал,  
я не возьму твоего побратима.

Или я мало терпела женщин уладских,  
разорвавших мне грудь и усталое сердце;  
говоря: не отдам, я шалею от лика свободы,  
а ему что теперь? Он на своих островах.

Только зря думаешь, Конал, что там он герой, нет.  
Герой мой Кухулин здесь, перед растрёпанной Эмер,  
мне споют песнь поношенья друиды,  
о которой лишь упомянуто в книге Бурой Коровы.

Я его Эмайн-Маха, и ко мне он приходит на стены,  
чтобы вещать уладам грядущие войны и бедствия,  
да, я не Эмер уже, я городище, я Эмайн-Маха,  
тень Кухулина, если ты не боишься меня, побратим.

Да, я Кухулин, бредущий по стенам Эмайн,  
он вещает ирландцам грядущие войны и бедствия,  
я вдова, воспринявшая имя покойника,  
сколько б их ни было, все они — Кухулин!

Тело, что снял ты со скал побережья,  
сожги немедля. С ним, Конал, брат мой, сожги и память мою навсегда,  
да и себя самого — слышишь? — за то, что ты видел кончину мою,  
а Кухулин жив. Зола, что от Эмер осталась, не боится уродства.

Он говорил мне, что я хороша. Так ведь нет его,  
нет и моей красоты. Или мало смеялись уладские жёны  
на одежду мою и на нрав, смеялись, но теперь Эмер нет,  
сгинули все её прелести в битве, пусть расцветают другие.

Так что тело сожги, и пусть улады обойдут кругом городище,  
высыпая золу по шепотке скупой, как кровь истекает по капле,  
будто были здесь Маха, и Кухулин, и я хоронила его.

## ГОРОДИЩЕ

### На городище

Шар торжища пылает  
в пыли,  
мы с тобой по городищу шли,  
последний старик умирает,

слепец,  
певец,

нас благословил,  
поди священника-то не было.

Кто после нас придёт на городище?  
Крещённые в крови,  
смиранные в любви.

На городище,  
в родном пепелище —  
кровь да любовь,

мир свыше,  
а кто его слышит?

## О ДНЕ И НОЧИ

Всё, что ни делаю днём, ты распускаешь ночью,  
мы два лика одной Пенелопы,  
ожидающей Одиссея.

Утром двумя крылами восстанет моя молитва,  
чтобы вечером ты поднял жертвенный нож,  
о мой друг, Пенелопа.

Пенелопа развеет по ветру пепел от нитей,  
от мыслей, от горя и бед, ничего не оставит она,  
а ты утром сядешь за пряжу молитвы,

Пенелопа, как это бывает,  
что спасенье одно на двоих,  
что один верит верой другого.

Ах, ему не хватает плоти,  
но слышишь ли, несопричтённая прочим женам,  
как он говорит тебе, образ ночной Пенелопы:

*я райский сад,  
и я Адам и Ева.*

## О СУДЕ И МИЛОСТИ

Накись на сердце, да щёлок будней.  
Мне бы не быть трудной,  
тяжела и легка,  
мотылёк и клюка  
овчина-яга,  
кожемяка.

Позовут, да не тут, не в любовь, а как,  
что ни муж, лайдак да путак,  
не о скверном: люблю ведь,  
не за венец и не за проповедь,  
а как Бог любит землю,  
скорби приемлю.

Идти под судьбу, как под волну — труд.  
Я иду по людям как суд,  
будто Страшный Суд начался,  
каждого гроб раскрылся,  
а бельё-то гнилое, тело,  
новым колосом пожелтело.

Я не вестница, я легка  
тем, что всё на земле — пока.

## ПЕРЕПОЛОВЕНЬЕ

От исхода, что отсюда идёт туда  
преполовляется вся судьба,  
полдничает наскоро  
солёным квасом,  
кровь ли то, слёзы,  
ласки ли, угрозы,  
под небом тёмным  
всяк становится бездомным,  
всяк далече от тепла и жилья.  
Дорогой преполовляется жизнь моя.

По снегу следы,  
будто и не мои,  
а я бегу-бегу, да лечу вдруг.  
Насыпи, никого вокруг.

Не в том дело, что впереди,  
не хвали меня, погоди,  
не ругай меня, осторожно,  
позади всё то, что возможно,

впереди снег слепой, темнота.  
Я всё та же, да и не та.

Я почти всегда перед смертью,  
всё о радости и о свете,  
да о послушании жить,  
о юдоли, где мне тужить,  
с преполовления до исхода,  
в любую погоду.

Так что ж ты о радости и о свете,  
о какой радости, о каком свете,  
преполовенье стремится к смерти.

Волнами снег.  
Не дорога — побег.  
Из Тушина пешком в Павшино.  
...  
Снег похож на птичье брашно.

## Песня на покосе

С тобою как в дальней дороге:  
укрепи, Господи, стопы мои,  
подай силы.

...

Где бы ни шли,  
в радости ли, в горе,  
а ты мне милый.

С тобою как в тесном вагоне,  
душа стонет,  
да просится на волю.  
А ты — воли боле.

...

Как бы ни болело,  
сердце пело,  
такая вот в тебе соль.

...

И меня потерпеть изволь.

Шла черница по покосу,  
потеряла свою косу,  
а мне сказала:

будешь жить,  
будет он бить и любить,  
да мучить, как ад на земле,  
потому что мир во зле,  
но ты любовь не тронь,

ибо возьмёт все грехи огонь,  
да ввергнет в дальнее море.

...

И в радости, и в горе.

## Плотина

Мне бы тебя в груди носить,  
ладанку, карман для паспорта,  
не выйдет! Не кому волнуется сирть,  
плотину-то заперли, замкнули.

Что плакать, как нас обманули,

а ты не боись, веселись,  
да всё ввысь, само собой,  
от полноты сердечной.

Как принять,  
что мне по капле познавать  
до скончания века,

мир человека,  
да больший Господен мир.

Душе не прикажешь:  
идёт как хочет,  
да вдруг полетела.

## ПОДМОСКОВНЫЕ ЛИСТЫ

1  
Непостижимо  
снова я здесь,  
а земля вокруг дремлет от влаги воспоминаний,  
опечатанный лес — побратим с окрещённым ямайцем.  
Изменилось ли что, кроме стен,  
кроме проклятых стен,  
алых стен, чьё бесстыдство уместно  
в дешёвом романе научной фантастики?  
Пустырь населён ромашкой и мышинным горошком,  
синеватым, как будто чернила осенние детские  
остались ещё среди прочих вещей,  
о вещах жалеть бесполезно,  
как о первой неловкой лирической встрече.

2  
Проклято всё новое подмосковное строительство,  
алые стены и весь их уклад, это маленький ад.  
Переменное место жительства,  
моложавый фасад —  
это ли благословлять?  
Нет, лучше вспомню о тех,  
кто заказывал этим маленьким жителям стены,  
да и мне, в их числе. Но я всего лишь взрывчатка.  
Я могу долго лежать взаперти.

3  
Снова носит меня, как будто бы я Бога просила о том,  
по полям и пустырям Подмосковья.  
Из окна электрички мне виден раскромсанный, страшный ландшафт.  
Волнуемых летних листов, крон деревьев элегический метр,  
панихида короткая, может, всего лишь одна лития.  
Стены кажутся будто прозрачными. В них больше пыли и тлена,  
чем в пустырях, заросших полынью, в лесопосадках,  
в обочинах рыженьких рельсов.  
Думаю о тебе: солнце и воздух, токи воды и любовь,  
что вдыхается и выдыхается, прибывает и убывает.  
Но какая любовь может быть среди стен гаражей,  
среди этих стволов, костерков — даже мысли о нашей любви  
невозможно здесь находиться. А я отчего-то смотрю

на всё это безумие: солнце и воздух, закат, эта лживая зелень.  
Милый мой, я тоже ведь лгу. В том, что мне нужно здесь жить,  
что люблю эти виды, с отчаянно изящными деревьями  
(а что в Подмосковье прекрасней деревьев?).  
Нет, меня лишь носит здесь промыслом неким,  
а любовь — о другом. Носит, тащит, пьянит,  
и притулиться, кроме как здесь,  
негде мне.

## ПЛАЧИ

### Плач с красным клевером

Что мне делать со снами непрошенными,  
разрывающими горошинами,  
с трижды дикой лукавой картечью?  
Я себе, окаянной перечу.

Как была я для всех бесноватой,  
новогодней нелепою ватой,  
дикой девой в платке неподшитом,  
не сосудом, а только корытом;  
я пришелица вам.

А теперь  
я волчица; таинственный зверь.

Мне приснился гористый изгиб,  
хвоя там да песок, белый гриб,  
а внизу будто озеро плыло,  
там овраг был песчаный, двукрылый.

Сон был чистым, как зимний ручей.  
Стая женщин и стая врачей.  
Вот рожно моё вам, чудо-сёстры.  
Вы кресты, вы святые погосты;  
моя кровь и нутро на снегу.

По песчаному склону бегу.

От меня только розовый, красный  
пятилистый, безвидный, двучастный,  
безучастный к страданиям моим  
клевер. Сена мерцающий дым,

да незваная Спасова ярость  
на татарскую мира усталость,

на гнетущие блага земли.

Плыли Ангелы как журавли.

### Плач с белым клевером

На небесных ладонях воздух,  
невесомые пряди старух,  
обступивших меня над ручьём  
в летнем снеге и клевере заячьем.

О, увы мне, что пережила  
свои похороны, что зола  
растворилась в мирской духоте,  
в обыденной нечистоте.

Надо мною смурная жена по ночам  
возникала из темени,  
из горения постного масла,  
из казённого серебра времени,  
наливала в холодную воду,  
как расплавленный воск,  
земную мою породу.

Как жену мне смурную назвать?

...  
То была я отроковицей,  
наговорной питалась водицей.

А теперь, между пылью и святостью,  
в пригородных пустырях,  
глина я обожжённая  
в горле мира, в житейских морях  
мореходка,  
бываю в добре и во зле.  
Белый клевер возрос на золе.

Белый клевер, из вороха сена  
есть спасенье от чар полуденных,  
благодать на унынье и боль.

Белый клевер шёл на богомолье,  
был в пыли, в придорожной пыли.

Перед ним Божьи Ангелы шли.

## Плач нищеты

За то, что любила, и за то, что нет  
держи ответ,  
чаши-половинки,  
девичьи корзинки.

Да я не о том, я теперь холм  
почти могильный,  
холод крестильный.

На Херувимской ветка стучится в окно,  
в каком бы ни была храме,  
да солнце вопреки раме,  
не удержать.

Что есть боль? Старухи к Чаше,  
как за хлебом в войну,  
в очередь,  
лишь карточек нет,  
а то и нарисуют.

При конце литургии погасят свет;  
душа в теле то кроткая, то окаянная,  
а была бы вовсе кроткой,  
то боли б не знала,  
никогда б не стенала.

А как вся земля стон,  
то его и не слышно.

Красота и любовь умирают ненарочно,  
так, в каком-то забыты,  
среди вещей почти ненужных,  
да вся нищета Господня.

## Плач о воинстве и рати

Плакалась душа моя сыну моему:  
солнце моё, отведи от меня суму и тюрьму,

да чужих риз края.  
Сын ответил: тюрьма — моя, и сума — моя.

А тебе, родительнице, надобно знать,  
что Господь не отдаст тебя никакому земному во-  
инству,  
и никакой поднебесной рати.

Плакалась душа моя моему любимому:  
о, как стать купиною неопалимою,

да кто я — пепел и прах, мирянка,  
Божья цыганка.

Возлюбленный отвечал мне так:  
гори, гори ясно, осенний мак,

одно у тебя достоинство:  
не возьмёт тебя за себя никакая земная рать,  
ни поднебесное воинство.

Сирота я, нет у меня отца,  
лишь светильник вместо лица  
да вести вместо речей,  
и над сердцем стая грачей,

да сретенское пение древнее, хороводное,  
да жилище, от бед свободное,  
да рифмы простые как молоко.

Всходит солнце Божьим велком,  
а за ним старец, почти прозрачный,  
весь мир в движении медленном и изящном,

пастух начинает овец собирать.  
Старцу ль не знать,  
что жизнь земная — вся воинство и вся рать.

## ТРИПТИХ

*памяти Андрея Тарковского*

### Тезис

Это поле с цельнорождённым снегом подобно  
сомкнутым векам слепого, лепечущего: да — как и ты — но  
здесь всегда только: но — поле белое — русский язык,  
он — святой — да, наверное, именно так — но извилины в трепете,  
здесь рыданье души и желанье добра затихают, а сердце молчит.

Поколение уходит — и что мне сказать,  
наблюдающей это месиво,  
христианское самоубийство,  
намеренье выжечь все беды в себе,  
всё стерпеть и простить.  
Не могу видеть лиц (Бог поможет), но шаг обязательно нужен.

Душеньки, уголовные, жуткие душеньки, окостеневшие,  
в унылом аду двадцать первого века (ещё не конец, если верить  
Апостолу, первое, к Солунянам).  
Снег на поле просел, оттепель, солнце  
(без него бы повесились). Но представь,

что время не растяжимо, а поколение (семьдесят лет)  
лагерей и бараков плодородило,  
и мы его кровные дети.

.....  
Все мы немного чужие,  
ни для кого не свои.

Мы — испанцы времён реконкисты,  
казаки,  
мы отселенцы, ушельцы,  
живые внутри мёртвой утробы  
мифа о русских.

### Антитезис

Это поле слепое, не взорванное собакой,  
несущейся детской памятью сквозь цельнорождённый снег,  
от февральского солнца просевший,  
и ещё никому из живущих и живших не открыто начало  
финальной сцены.

Так что же ты мне — о каком-то противостоянье,  
о Дон Кихоте и реконкисте, о всяком казачьем дымке,  
о слепой красоте, о Софии и девах — всё бело,  
и лишь солнце, пустынное солнце над снегом просевшим,  
испепеляет кости.

Я верую альфе с омегой, и, значит,  
ушелец — как снег,  
лишь солнце палящее, испепелившее чёрную шерсть  
снег взорвавшей собаки, выше меня.  
Я кость с того самого поля  
финала истории.

Доколе вся тяжесть грехов и сомнений,  
подобная груде камней,  
не поднимется Богом  
и не разлетится как высохшая листва,

дотолы живи: ешь и пей, и люби,  
в том числе тех, кто тебя предаёт.  
Это ведь тоже возможность ухода прочь  
из лагеря смерти.

Да, мы проданы, да, все заложены в некий ломбард  
человеческий — но запах палёной собачьей шерсти  
ещё носится между бараков, а снег  
некогда цельнорождённый, размётан  
как будто от взрыва.

## Синтез

136 Не собака, а некто — в Ивановом детстве —  
вдоль по цельнорождённому полю идёт,  
задубевший,  
и вздрагивает слегка  
от заснеженных стен и ветвей, так не похожих на проволоку,  
страшно далёких ветвей (снег, и ничего кроме снега вокруг),  
кирпича, занесённых изгибов бетона и стали,  
а вокруг только снег,  
но идущий лишь вздрагивает слегка  
от какого-то света в окне (от рожденья шесть лет),  
остановка,  
и снова — Измайловский парк,  
обезлюдевший ночью,  
и снежное поле лежит  
цельнокроеным чудом, хитоном Христовым,  
и скоро к Дарам подходить,  
и раззявленный рот забирает в себя целый огненный воздух,  
рот младенческий голый жуёт невещественный снег,  
и потом засыпает.  
И кружево рядом ложится  
отходною молитвой.

## Памяти Егора Лётова

Тебе хотелось бы побеседовать со Христом по-свойски,  
наблюдая, как разламывает Он хлеб,  
послушать идущий от полотна, лежащего на Плечах,  
запах обречённого Тела. Всё вышло не так.

Здесь только небо за небом, единое небо,  
гораздо страшнее и чище, чем было зимою,  
да таловость эта, да солнце остро-золотое,  
да голод на счастье, почти звериный.

Какая же радость в разлучении души от тела,  
нет, радости нет, ни покоя, ни воли.  
Даже теперь, среди последних лет земной жизни,  
натянутых плотном на вспученные пространства,

восхищаюсь: как создан мир наш!  
Ничего зря, ничего лишнего.

## КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДРУГУ

Почивай, отдохни от меня; от сырых от ветров островных,  
и зачем полюбила я их? Твои волосы — стадо ягнят,  
чернорунных, прекрасных, седых или пепельных,  
на цветных мелких вмятинах штапельных,  
твои локоны — стадо ягнят.  
Пусть мой голос тебя не тревожит,  
и не жжёт одинокое ложе,  
ледяную купелю огня.  
Почивай, отдохни от меня,  
моё солнце.

И не то чтоб меня слишком много,  
так неотвратимо и много,  
я ведь мелкая, всё невпопад,  
но порой ты бываешь мне рад.

Все занятия дня и заката —  
путь смиренный, почти без возврата,  
прочь, чтоб сферу преодолеть  
и с другой стороны подобреть  
для нечаянной будто бы встречи.

Ты далече, теперь ты далече,  
по ту сторону ночи и дня.  
Почивай, отдохни от меня,  
пусть неведомый Странник с тобой  
делит кров затихающий твой.

Слаще будет и сон и беседа,  
и мой путь мне в местах заповедных.

## В ВАГОНЕ ПОДЗЕМКИ

Все мы, кто едет в вагоне подземки,  
Будто в глубокой ладони.  
Она донесёт нас до самого берега, в самое время.

Верится мне, что есть  
Счастье, милость Господня ко всем,  
Едушим в нашем вагоне подземном.  
Над каждым реют крыла  
Недалёкого будущего,  
Над каждым парит непрожитая жизнь.

А люди летят на свет,  
спицы перьев, чешуйки мерцаний,  
У людей раскрываются крылья.

Люди летят на свет,  
Сливаясь в поток световой,  
Метеор среди холодной вселенной.

Отражаюсь в каждом, кто едет в вагоне метро,  
Капля в глубину, и недопитая судьба  
Молоком и вином, а порою и кровью под языком.

Девушка, ей очень нужно выйти туда, где он,  
ради его сумасшедших зениц, а он,  
Ну какие мужчины теперь, это сон.

Юноша, парень ли, хоть как назови,  
А в печь не полезет, но там, наверху, есть приятель,  
А может быть, мать,  
Оттого и вся жизнь его здесь, в этом вагоне подземки,  
Сосредоточена болезненной острия.

Все мы в вагоне метро, выхваченные полосой света,  
Живём и проживаем внезапные годы свои.

Старик и старуха, как они пронзительно звучат,  
Как трогательно нелепы, отчего хочется их спрятать  
Как старую хрупкую чайную пару.  
Ведь они родились стариками и стариками жили всю жизнь,  
А теперь они стали сами собою.

Люди летят на свет, мотыльки с плотяными крылами,  
В радуге мелких сердечек, в сетке предчувствия чуда,  
Не поверю, что хотя бы кто-то чуда не ждёт.

Не то, что Господь машинист, не только.  
Но там, за пределом подземки, есть мир,  
Где Христу очень нужно увидеть нас всех.  
И потому на ладони вот оно время,  
Немного, времени спелый глоток,  
Как бывает из бока сочного плода,  
Крылья над каждым,  
Идущим со скоростью света в подземке метро,  
Доехать, хотя бы в течении часа,  
В течении жизни,  
К Нему.

## ВСЕ ОЗЕРО ОТ БЕРЕГОВ СВОБОДНО

*Писать о новой книге Наталии Черных не просто: это как раз тот самый случай, когда стихи говорят сами за себя и не требуют никаких пояснений или дополнений. Если хотите, поэзия чистой воды (я бы еще добавил — не морской или речной, а скорее, озерной: именно заповедные уральские озера омывают этот уникальный даже для сегодняшней, богатейшей на яркие имена и удачные тексты, русской поэзии авторский мир).*

*И все же я рискну поделиться некоторыми впечатлениями: а вдруг кто-то еще не знал о существовании этого мира до появления нынешнего собрания: ведь книги Черных выходили маленькими тиражами, их — по собственному собирательскому опыту знаю — всегда было нелегко раздобыть.*

*Итак, впечатление первое: поэзия Черных не требует, чтобы ее понимали. По крайней мере, до конца, до слова. В нее нельзя, да и не нужно входить — необходимо только подстроить шаг, чтобы по возможности в ногу двигаться параллельно этому горячему потоку слов и мыслей, каждый раз радуясь, что чувствуешь дыхание некоего загадочного мира рядом с собой.*

*Впечатление второе: в этом потоке, словно вешки, расставлены главные вещи, или означающие их основные слова: озеро, роза, виноград, молоко; Сокольники, Измайлово, Иерусалим; Бог, его ангелы, Никола-Угодник; звезда, душа, путница...*

*Скажем, роза. Она возникает в самом начале книги: сначала это — метафорическая «роза истины»:*

И потому роза истины сломана, а впечатлительная метель  
стучится в окно моего слишком юного сердца.  
Розу истины нам заменит ветка цветущей сливы,  
на китайский манер — наши сердца боятся друг друга.

*Потом, в триптихе «Лоза, молоко и роза», этот цветок становится уже главной героиней — не только стихотворения, но и всего мира: сначала ее приносит людям смерть, и мы видим, что это не только традиционный символ красоты, но нечто гораздо более важное и прекрасное:*

О роза, ты классична, как закат,  
как сумерки сознания. Ты тема

всех слов и звуков,  
ты лозе невеста.  
Прибой пьянящий в хрупких берегах  
взмывает лепестки и сеет страх.  
Истоптанная гроздь в точиле спит,  
и платье лепестка сочится каплей.  
Вот вкус ухода, аромат прощанья  
и осозание иной земли ...

*В следующем стихотворении цикла мы, на первый взгляд, вместе с поэтом любимся вполне осязаемой, реальной розой, но и здесь уже через несколько мгновений метаморфоза уносит нас в далекие от элементарной ботаники «розовые тайны бытия»:*

Вот роза в молоке: пурпур и жемчуг,  
раскрывшийся младенческой ладонью,  
беспомощной и раненой ладошкой,  
внезапно превратившейся в атлас.

Боль красоте наследница.

Так чин садовника наследует торговец  
и царский трон наследует плебей.

Но здесь, на местности, где даже пыль чиста,  
а скорби дружественны и недолговечны,  
раскрошенная в чашку молока  
сияет роза, в тёмной оторочке...

*А напоследок этот прекрасный цветок, равноценный и равноправный с самой человеческой жизнью, появляется в портрете очень важного для Черных героя: утопленница из ее Четвертой элегии изображается ею так:*

Вся в путах звёзд морских и роз морских,  
холодный взгляд сирены,  
уста в поту морском и укоризненно степенны;  
она так хороша и неизменна,  
что я кроплю вокруг святой водой,  
зову святых на нашу встречу, даже  
порой лампаду зажигаю —

*и почти сразу вновь «возвращается» к чистой мистике в стихах о Хиросиме:*

Лист мой, белый журавль. Я на ответ не надеюсь, но вот мои руки,  
в них кровь замедляет движение, слышно ушибы и боль, а поцелуй твой  
преобразят их в лепестки розы и сакуры майской.

*Соответственно, душу и путницу, или, точнее, единую душу-путницу воображение Поэта заносит в самые разные края: от Сахалина до Иерусалима. При этом особой разницы между этими двумя полюсами — воплощением рукотворной истории и символом нетронутой, воистину дикой природы (а значит, и поэзии) — не так, в общем-то, и много — потому что оба этих полюса расположены внутри души Поэта, путешествующего по большей части не по широкому миру, а внутри себя, что не мешает душе постоянно обретать и обживать словом новые и новые стороны мира.*

*Поэтому земля у Черных живет и дышит в Измайлово, над ним же горит осеннее небо. А Сахалин, так же как Камчатка, Байкал и Уссурийская тайга, возникают, когда героиня (ее тело и душа одновременно) идет при минус двадцати к замерзшим Гольяновским прудам по улицам, носящим имена этих дальних и неизведанных ею земель. «Я пришелица в этом переполненном мире», — обращается она к Сахалину, воспевая его и приравнивая к поэзии — едва ли не высшее мерило в мире Черных. Сразу после Бога и его ангелов, которых нельзя оценивать: это высший, незыблемый, непререкаемый авторитет. «Природа лишь источник задремавший / в объятьях Бога». «Ангелы смотрят, поддерживая сильным дыханьем / дыханье мое». И даже в памятном из детства яичке — ко-ко «сияет Божья милость» — всегда, со всех сторон мир Черных защищен высшими светлыми силами...*

*В этом мире живет еще и Поэт, почти равный Богу. Он (то есть Она) созерцает и воспевает мир, устанавливает и утверждает в нем свои ценности и приоритеты, иногда не совсем традиционные. Может, например, взять и превратить утопленницу — странную гостью, привидение, фосфорную деву, кошмар, призрак — в фею, лучик света, свою пеннорожденную сестру, почти в свою мать... «Кто она, не знаю. / Кроплю святой водой, зову святых, / готовлю чай», — завершает свою элегию, посвященную явлению этой героини, Черных. А потом утопленница оказывается вдруг не в мокром пруду, а «в кругу святых»...*

*И невольно вспоминаешь другую недавнюю книгу Черных, «Уроки святости», где в один ряд с Иоанном Златоустом и Серафимом Саровским она помещает великого автора Страстей Христовых И.С. Баха и двух поэтов — Мартина Лютера и Игнатия Брянчанинова...*

*«Уроки святости» имеют подзаголовок «Как становятся святыми»; недавно кто-то из не слишком искушенных современников спросил меня о Черных: это она написала книгу «Как стать святым»? Тогда я рассме-*

ялся, а теперь, после чтения «Элегий», понимаю, что эта оговорка была не такой уж случайной. И даже не такой уж оговоркой... Вспомним:

Ухожу в поэты,  
как раньше уходили — хоть в казаки,  
под суд, на каторгу. Скорее, смерть!

Важное место в мире Поэта занимает детство — то самое, в котором сияло Божьей милостью волшебное ко-ко, детство, по злой иронии судьбы прошедшее в далеком секретном уральском городе, на берегу того самого еще совсем недавно светлого озера. Но оно только думало, что свободно от берегов, а точнее — от их безрассудных обитателей, устроивших здесь, в этом прекрасном горном краю, страшную атомную потеху. «Улицы города были открыты, так, что нельзя сесть не на тот автобус...а с вокзала железнодорожного никто никуда не уехал...». Нет, не случайно одно из стихотворений Черных посвящено творцу Зоны Тарковскому, другое — выходию из ядерного Семипалатинска богоборцу и богоискателю Егору Летову, не просто так на ее японских письмах стоят почтовые отметки Хиросимы и Нагасаки... А в стихах то и дело возникает — чтобы, правда, тут же исчезнуть — маленький, будто бы домашний, но все равно страшный Ад.

А еще здесь постоянно витает сон. Он то напоминает Рай («Но листок — взгляни — / летит, / играет тканью Рая»), то заставляет вспомнить о смерти («Чем ближе к смертной постели, тем холоднее телом»). Но и смерть в мире Черных не окончательна — она может закончиться, как это и происходит в конце ее Третьей элегии...

Большинство стихов в этой книге напрямую обращено к собеседнику — будь то названный по имени человек, или его память, или город, остров, улица, пруд, дерево, листок... Все они у Черных живые, все — близкие. Все — Божьи.

А особенно душа, которую можно спеть, которая способна закрыть глаза и снова их открыть, чтобы смотреть, как отправляется в путь, вместе с нашим Поэтом, его звезда. Туда, где «радости солнечного ветра между светилами городов» и «мирные тени деревьев», и «люди как волны», и «южные звезды, как будто монахи, / кадят надо мною, / обещающая за вину счастье»...

Юрий Орлицкий

## СОДЕРЖАНИЕ

Боль здесь — только боль (С. Завьялов) . . . . .	7
Лестница поэта (Л. Вязмитинова) . . . . .	12

## КНИГА ЭЛЕГИЙ

К СВИДАНИЯМ . . . . .	20
первое . . . . .	20
второе . . . . .	21
К ОЗЕРУ . . . . .	22
ЛОЗА, МОЛОКО И РОЗА(триптих) . . . . .	28
К винограду и розе . . . . .	28
К розе и молоку . . . . .	29
К лозе и молоку . . . . .	30
ЭЛЕГИЯ С ЯЙЦОМ . . . . .	32
ДЕТСКИЕ . . . . .	34
Первая (пригородная) . . . . .	34
Вторая (осенняя) . . . . .	35
Третья (рождение) . . . . .	37
Четвёртая (утопленница) . . . . .	39
Пятая (растение) . . . . .	41
АРХИТЕКТУРНАЯ ЭЛЕГИЯ . . . . .	43
ИЗМАЙЛОВО . . . . .	45
1 (элегия земле) . . . . .	45
2 (элегия осенней воде) . . . . .	47
3 (элегия осеннему небу) . . . . .	49
4 (плач и улыбка осеннего сада) . . . . .	51
ГОЛЬЯНОВО . . . . .	53
К безлюдью . . . . .	53
К Гольяновским прудам зимой . . . . .	55
К солнцевороту: Новосибирская улица . . . . .	56
На четырнадцатое января . . . . .	58
К МАКСИМУ . . . . .	60
Первая . . . . .	60
Вторая . . . . .	62
Третья . . . . .	64
К ЦАРИЦЫНСКОМУ ПАРКУ . . . . .	66
ЭЛЕГИЯ КУЗЬМИНКАМ . . . . .	72
К САХАЛИНУ . . . . .	73

## ПОХВАЛА БЕССОННИЦЕ

ПОХВАЛА БЕССОННИЦЕ .....	78
БОСИКОМ .....	79
НОВАЯ ЖИЗНЬ .....	81
О ВЕСАХ, ПОЭТЕ И ТОЛПЕ .....	82
В ДОРОГЕ И НА ПОСТОЕ .....	84
Весенняя песня .....	84
Песня о горе и море .....	85
Гиена .....	87
Душа-звезда .....	88
Снова звёзды .....	89
В дороге .....	90
На постое .....	91
Зимней ночью .....	92
ЧЁРНЫЙ ЖУРАВЛЬ .....	95
Зимняя эклога .....	95
Одёжки .....	96
Арфа .....	97
Пряха и куделя .....	98
Глаза воды .....	100
Чёрный журавль .....	101
Печальное .....	103
Радостное .....	104
СТРАННИЦА .....	105
Путница .....	105
Песнь о Ярославне .....	106
Песня о княгине Ольге .....	107
ЯПОНСКИЕ ПИСЬМА .....	109
Хиросима .....	109
Нагасаки .....	111
НОВЫЕ ПЕСНИ ЭРИН .....	113
Песня разрушения Эмайн Махи .....	113
Смерть Махи и начало Эмайн-Махи .....	115
Кухулин в горах Альбы .....	116
Кухулин похищает Эмер .....	117
Кухулин возвращается из Круаханрата .....	118
Плач Эмер над телом Кухулина .....	120
ГОРОДИЩЕ .....	122
На городище .....	122

О дне и ночи .....	123
О суде и милости .....	124
Переполовенье .....	125
Песня на покосе .....	126
Плотина .....	127
Подмосковные листья .....	128
ПЛАЧИ .....	130
Плач с красным клевером .....	130
Плач с белым клевером .....	131
Плач нищеты .....	132
Плач о воинстве и рати .....	133
ТРИПТИХ .....	134
Тезис .....	134
Антитезис .....	135
Синтез .....	136
ПАМЯТИ ЕГОРА ЛЕТОВА .....	137
«КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДРУГУ .....	138
В ВАГОНЕ ПОДЗЕМКИ .....	139
<i>Все озеро от берегов свободно (Ю. Орлицкий) .....</i>	<i>141</i>

**Наталья Черных**  
***ПОХВАЛА БЕССОННИЦЕ***  
*(Стихи 2006–2008 гг.)*  
Книга стихотворений

Поэтическая серия «Русского Гулливера»

Руководитель проекта Вадим Месяц  
Главный редактор серии Андрей Тавров  
Макет и верстка Валерий Земских

«Русский Гулливер»  
тел. +7 495 159-00-59  
[www.gulliverus.ru](http://www.gulliverus.ru)  
[russian\\_gulliver@mail.ru](mailto:russian_gulliver@mail.ru)

Подписано к печати 00.00.2009. Формат 140 × 200.  
Бумага офсетная. Гарнитура NewtonС.  
Печать офсетная. Тираж 300 экз.

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии «Светлый Пир»  
112114, г. Москва, 2-й Кожевниковский пер., 12